

ЭМИЛЬ ЧОРАН

18+

РАЗЛАД

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Разлад
Эмиль-Мишель Чоран

Аннотация
Эмиль Чоран. Разлад
Две истины
Любитель мемуаров
После конца истории
К худшему будущему
Попытки забытья

Аннотация

Чоран называл себя «секретарем собственных ощущений», наверное, именно поэтому его труд «Разлад» так похож на дневник человека с его горькими и гневными размышлениями о жизни.

Философ пишет о своем разочаровании в европейской цивилизации, отрицает возможность общественного прогресса, безжалостно критикует любые авторитеты и идеологии, обращается к первоистокам, размышляет о буддизме и средневековой мистике, цитирует древнеиндийские книги и гностические евангелия, чтобы постараться ответить на вопрос: что же будет с человеком после неизбежного конца истории?

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Эмиль Чоран
Разлад

Серия «Эксклюзивная классика»

Emil Cioran
ECARTELEMENT

Перевод с французского *Н. Мавлевич, Б. Дубина*

Печатается с разрешения Editions Gallimard.



© Éditions Gallimard, Paris, 1979
© Перевод. Б. Дубин, наследники, 2025
© Перевод. Н. Мавлевич, 2025
© Издание на русском языке AST Publishers, 2026

Две истины

«В садах Запада пробил час закрытия».

Сирил Коннолли

Гностическая легенда рассказывает о битве ангелов, в которой воинство архангела Михаила победило воинство Змия. Те же ангелы, что нерешительно наблюдали за схваткой, были сосланы сюда, на землю, чтобы сделать выбор, который не сделали на небе, и выбирать им тем труднее, что у них не сохранилось ни малейшего воспоминания ни о сражении, ни о своем малодушии. Выходит, что побудительной причиной истории послужило колебание, а человек появился в результате первородного сомнения и неспособности занять определенную позицию до изгнания. Сброшенный в этот мир, чтобы научиться выбирать, он обречен на случайные поступки и сможет выполнить свое предназначение, только если подавит в себе созерцателя. Если на небе нейтральность в какой-то мере еще была возможна, то земная история стала наказанием существам, которые до воплощения не сочли нужным примкнуть к тому или иному лагерю. Тогда становится понятно,

почему смертные так стремятся принять чью-либо сторону, так склонны сбиваться в группы, собираться вокруг какой-нибудь истины. Какова же эта истина?

В позднем буддизме, в частности в школе мадхьямика[1], существует отчетливое различение истины абсолютной, или *парамартхи,* достояния свободных душ, от обыденной, или *санврити,* «замутненной», точнее «ошибочной», удела или проклятия скованных.

Абсолютная истина, не боящаяся ничего, даже отрицания всякой истины и самой идеи истины, — привилегия пассивности, привилегия тех, кто сознательно устранился из сферы действий и озабочен лишь одним: выпадением из реальности (не важно — мгновенным или постепенным), не сопряженным с каким бы то ни было чувством потери, ибо переход в нереальность, напротив, приносит несказанное блаженство. История для такого человека — всего лишь дурной сон, с которым он смиряется, поскольку никто не может выбирать наваждения по собственному произволению.

Чтобы уяснить, в чем смысл исторического

[1] Примечания: 1

Первая философская школа махаямского буддизма, основана во II в. н. э. Нагарджуной. — *Здесь и далее прим. пер.*

процесса, или, вернее, уяснить, как мало в нем смысла, нужно согласиться с той очевидностью, что все выдвигаемые им истины ошибочны, а ошибочны они потому, что приписывают содержательность пустоте, выдают мнимое за вещественное. Теория о двух истинах отводит место для истории, этого рая лунатиков, этого грандиозного наваждения, в ряду других фикций. Строго говоря, она не совсем лишена сути и смысла, ибо ее смысл — обман, она и есть *по сути своей обман*, универсальное, ослепляющее и облегчающее жизнь во времени средство.

Сарвакармафалатьяга... Когда-то, много лет тому назад, я написал большими буквами это волшебное слово на листе бумаги и приколол на стене у себя в комнате, чтобы весь день созерцать его. Оно провисело несколько месяцев, пока я не снял его, заметив, что все больше поддаюсь его магическому звучанию и все меньше вспоминаю о содержании. Между тем оно означает: *безразличие к результату действия*, — и важность его такова, что у того, кто по-настоящему проникнется им, не останется больше никаких стремлений, потому что он достигнет единственно стоящей из всех крайностей — абсолютной истины, отменяющей все остальные как пустышки. Впрочем,

пуста и она сама, но, в отличие от них, эту пустоту сознает. Еще немного трезвости, еще один шаг к пробуждению — и сделавший его окончательно станет призраком.

Когда прикоснешься к этой — предельной — истине, то неуютно чувствуешь себя в истории, где намешано множество ложных, одинаково напористых и, разумеется, одинаково иллюзорных истин. Прозревшие, пробужденные неминуемо оказываются немощными и не могут участвовать в событиях, ибо заранее знают, что все это пустая суета. Столкновение двух истин полезно для отрезвления мысли, но губительно для деятельности. С него начинается крушение — как отдельной личности, так и целой культуры или даже целого народа.

Пока пробуждение не наступило, мы проводим дни в беспечности, блаженстве, упоении. Когда же спадает пелена иллюзий, наступает пресыщение. Протрезвевшему от всего тошно; как всякий излечившийся фанатик, он больше не может выносить бремя химер, уродливых или симпатичных — все едино. Теперь он так далек от них, что не понимает, в силу какого помрачения мог ими прельститься.

Когда-то благодаря им он преуспевал и утвер-

ждался. Ныне ему так же трудно представить себе прошлое, как и будущее. Он растратил впустую всю свою энергию, подобно одержимым бесом перемен народам, которые развиваются слишком быстро и, отбрасывая одного идола за другим, в конце концов остаются ни с чем. Еще Шаррон отмечал, что во Флоренции за десять лет происходило больше потрясений и смут, чем в Граубюндене[2] за пять столетий, и делал вывод, что жизнеспособно то общество, где *дремлет* дух.

Архаичные цивилизации потому просуществовали так долго, что не знали страсти к обновлению и смене мнимых ценностей. Когда же шкала меняется с каждым поколением, об исторической долговечности нечего и мечтать. Древняя Греция и современная Европа — примеры культур, обрекших себя на преждевременную смерть своей жаждой менять обличья и неумеренным потреблением богов и их заменителей. Китай же и Египет тысячелетиями млели в величественной косности. Как и африканские культуры до контакта с европейцами. Теперь эти культуры тоже под угрозой, потому что приспособились к

---

[2] Примечания: 2
Граубюнден — кантон в Швейцарии.

чужому ритму. Утратив благотворную неподвижность, они все больше разгоняются и неизбежно придут к падению, как и образцы, которым они подражают, — скоротечные, неспособные протянуть больше десятка веков цивилизации. Народам, которые займут господствующее место в дальнейшем, достанется еще меньший срок: в истории замедленный темп всегда сменяется гонкой. Как не позавидовать фараонам и их китайским коллегам!

Установления, общества, цивилизации разнятся по масштабам и продолжительности существования, но все подчиняются общему закону, согласно которому источник неуемной энергии — а именно ему они обязаны своим подъемом — со временем истощается и входит в русло, а как только исступление, эта главная движущая сила, остывает, наступает упадок. По сравнению с буйными периодами роста закатная пора кажется нормальной, она и впрямь нормальна, даже чересчур, и это делает ее едва ли не столь же губительной.

Народ, достигший процветания, истративший все свои таланты и полностью истощивший свой гений, искупает этот успех бесплодием. Он выполнил свой долг и мечтает пожить спо-

койно, но, увы, этого-то ему и не удается. Когда римляне — или их жалкие остатки — вознамерились отдохнуть, пришли в движение варвары. В учебниках, рассказывающих о нашествиях, говорится, что до середины V века германцы, служившие в армии и администрации империи, брали латинские имена. Ну а потом обязательными стали германские. Выдохшиеся господа, теснимые во всех областях, не внушали больше ни страха, ни почтения. Зачем было называться на их лад? «Повсюду царила убийственная сонная одурь», — писал Сальвиан, самый беспощадный обличитель античной культуры в последней стадии вырождения.

Как-то вечером в метро я внимательно огляделся по сторонам: все сплошь, включая меня самого, приезжие… Только двое или трое, судя по лицам, *местные,* они явно испытывали неловкость и словно извинялись за то, что затесались среди нас. Та же картина в Лондоне.

В наше время миграции происходят не как массовые переселения, а в виде постепенного проникновения: чужаки понемногу просачиваются в среду «коренных жителей», слишком анемичных и утонченных, чтобы опускаться до идеи «своей территории». Тысячу лет бди-

тельно охранявшиеся двери распахнулись настежь… Когда подумаешь о долгих распрях между французами и англичанами, потом между французами и немцами, кажется, что все они, взаимно выматывая друг друга, старательно приближали общий крах, чтобы уступить место другим представителям человечества. Новое *Volkerwanderung* (переселение народов), как и в древности, вызовет этническое смешение, все фазы которого пока не предугадать. Глядя на эти разномастные физиономии, нельзя и помыслить о сколько-нибудь однородном сообществе. Сама возможность такого пестрого сборища — признак того, что у коренных жителей того пространства, которое оно занимает, не было желания хоть в какой-то мере сберечь свою самобытность. В Риме в III веке нашей эры только шестьдесят тысяч жителей из миллиона были латинского происхождения. Как только какой-нибудь народ выполнит возложенную на него историческую миссию, ему становится незачем сохранять свою самобытность, свою характерную внешность в хаосе разноплеменных лиц. Европейцы, господствовавшие в обоих полушариях, мало-помалу становятся всемирным посмешищем: им, худосочным, в буквальном смысле измельчавшим,

уготована участь парий, дряхлых, слабосильных рабов, и только русские, *последние* белые люди, возможно, этой участи избегнут. У них еще осталась гордыня, этот двигатель, нет, этот *стимул* истории. Нация, потерявшая гордость и переставшая видеть в себе смысл или главную ценность вселенной, сама себе отрезает путь к дальнейшему развитию. На свое счастье или несчастье — как посмотреть, — она *насытилась*. Честолюбец, глядя на нее, отчается, зато созерцатель с червоточинкой в душе придет в восторг. Только продвинувшиеся до опасной грани народы и интересны, особенно для тех, кто сам не слишком обласкан Временем и заигрывает с Клио из желания наказать себя, заняться самобичеванием. Впрочем, этой потребностью продиктованы чуть ли не все человеческие начинания, как великие, так и ничтожные. Каждый из нас работает *против* собственных интересов; мы этого не сознаем, пока вовлечены в дело сами, но достаточно оглянуться назад, чтобы убедиться: во все времена люди боролись и жертвовали собой ради своего явного или потенциального врага — деятели Революции старались для Бонапарта, Бонапарт — для Бурбонов, Бурбоны — для Орлеанов… Так что же, история — это сплошное издевательство и

у нее нет никакой цели? Есть, и не одна, а много, но она приходит к ним, двигаясь *в противоположную сторону*. Это явление универсальное. Мы достигаем обратного тому, к чему стремились; мы рвемся навстречу прекрасной лжи, которую сами себе выдумали. Вот откуда успех биографий, наименее скучного из несолидных жанров. *Воля* никогда никого не доводила до добра: обычно то, чего добиваются упорнее всего, ради чего идут на самые большие лишения, оказывается более чем сомнительным благом. Это верно для писателей, завоевателей — для всех, кого ни возьми. Конец любого из нас дает не меньше пищи для размышлений, чем конец целой империи или конец человечества вообще, которое так гордится своим — с трудом приобретенным — прямохождением и так боится вернуться в исходную точку: закончить эволюцию таким, каким начало, согнутым и обросшим шерстью. Над каждым существом нависает угроза деградировать до первоначального состояния (не говорит ли это о тщетности его, да и любого, развития?), если же кому-то удается этой угрозы избежать, то кажется, что он уклонился от выполнения долга, нарушил правила игры, из экстравагантности выбрав для себя другой способ падения.

Роль периодов упадка заключается в том, чтобы обнажить, разоблачить цивилизацию, разбить ее кумиры, избавить ее от привычки кичиться своими достижениями. Она получает таким образом возможность оценить свое прошлое и настоящее, увидеть бесплодность всех потрясений и усилий. И по мере отстранения от бредней, на которых основывалась ее слава, она все больше продвигается к осознанию реальности… к отрезвлению, к полному пробуждению, — словом, делает роковой скачок и вскоре вырывается из истории. Либо иначе: она оттого и просыпается, что уже выпала из исторической колеи и потеряла лидерство. Итак, сначала слабеют инстинкты, затем просветляется сознание, затем утверждается трезвость, а это означает раскрепощение сферы духа и атрофию сферы деятельности, в частности деятельности в истории, которая замирает на отметке «крушение»: кто обратил взгляд на собственную историю, тот так и останется удрученным зрителем. Мы машинально сопрягаем понятия *«история»* и *«смысл»*, между тем это типичный пример ошибочной истины. Некий смысл в истории при желании можно найти, но этот смысл ставит под сомнение ее самое, отрицает ее в каждый ее момент, показывает

ее смешной и жуткой, жалкой и грандиозной — словом, попирающей всякое представление о нравственности. Кто принял бы ее всерьез, не будь она прямой дорогой к гибели? Само то, что в обществе занялись историей, говорит о ее определенной стадии: как сказал Эрвин Райснер, историческое сознание есть симптом конца времен *(Geschichtsbewusstsein ist Symptom der Endzeit).* В самом деле, озабоченность историей приходит вместе с озабоченностью ее близким закатом. Богослов размышляет о жизни, *провидя* Страшный суд, человек, охваченный тревогой (или пророк), — провидя вещи менее эффектные, но столь же важные. Оба ждут катастрофы, подобной той, какую индейцы-делавары проецировали в прошлое: по преданию, в то время молились от ужаса не только люди, но и звери. Но, возразят мне, разве не бывает спокойных периодов? Бесспорно, бывает, но это спокойствие всего лишь складный кошмар, *безукоризненная* пытка.

Нельзя согласиться с теми, кто утверждает, будто понятие трагического приложимо только к отдельной личности, а не к истории. Это отнюдь не так: история не просто созвучна трагедии, но и проникнута ею еще больше, чем судьба трагичнейшего из героев, и за ее перипетиями следят

с пристальным вниманием. Мы так увлечены ею, потому что инстинктивно чувствуем, какие неожиданности подстерегают ее в пути и на какие неподражаемые фортели она способна. Правда, для искушенного ума она добавит не много нового к общей неразрешимости и безвыходности. Да ведь и трагедия ничего не разрешает, потому что решать нечего. Угадать будущее можно лишь по недоразумению. К сожалению, нам нестерпимо положение полной неопределенности. Едва же события хоть немного проясняются, как мы впадаем в крайний детерминизм, в буйный фатализм. Свободным произволением людей объясняется лишь *поверхностный слой* истории, обличья, которые она принимает, какие-то внешние завихрения, но не глубины, не настоящий ее ток, который, несмотря ни на что, остается таинственным и непостижимым. Мы до сих пор даемся диву, как это Ганнибал после битвы при Каннах не двинулся на Рим. Сделай он это, и сегодня мы бы гордо именовали себя потомками карфагенян. Конечно, глупо отвергать роль случая, прихоти, а значит, личности в истории. И все же каждый раз, когда оглядываешь всю картину, неизменно приходят на ум слова из «Махабхараты»: «Нельзя развязать узел Судьбы, ничто в этом

мире не зависит от наших поступков».

Жертвы двойного обольщения, мечущиеся между двумя истинами, не в силах выбрать одну из них и тотчас не пожалеть о другой, мы слишком прозорливы, чтобы не утратить кураж, не остыть от иллюзий и от их отсутствия. В этом смысле мы похожи на Рансе[3], оставшегося в плену у своего прошлого и посвящавшего годы отшельничества полемике с теми, кого сам же покинул, или с авторами вздорных книжонок, в которых оспаривалась искренность его обращения и хулились все его дела, — вот доказательство того, что проще реформировать траппистский орден, чем отрешиться от своего времени. Точно так же легче легкого обличать историю и страшно трудно оторваться от нее: она окружает тебя и не дает о себе забыть. Она мешает окончательному прозрению, она та преграда, которую можно перескочить, только осознав ничтожность всех событий, кроме одного-единственного: самого этого осознания, поскольку лишь оно позволяет нам хоть на миг увидеть подлинную правду, то есть одержать победу над всеми ошибочными.

[3] Примечания: 3

Рансе Арман Жан Ле Бутилье де (1625–1700) принимал активное участие в бурной жизни французского двора, позднее стал настоятелем траппистского монастыря, где провел жесткую реформу устава и нравов.

Недаром Моммзен говорил: «Историк обязан, подобно Богу, любить всех и вся, даже самого дьявола». Другими словами, он должен отринуть все предпочтения и учиться полному самоустранению. Историк, сумевший встать вне времени, мог бы служить примером свободного человека.

Мы вынуждены выбирать между убийственной истиной и целительным враньем. И только такая — несовместимая с жизнью — истина достойна своего названия. Она выше того, чтобы отвечать чьим-то требованиям, и не снисходит до уступок смертным. Такие истины «бесчеловечны», сногсшибательны, мы не приемлем их, ибо не можем обойтись без подпорок в виде догм или богов. Увы, во все времена именно иконоборцы или те, кто объявлял себя таковыми, чаще всего прибегали к басням и лжи. Как тяжко должен был заболеть античный мир, раз ему понадобилось такое грубое противоядие — христианство. То же происходит и с современным миром, судя по всеобщей жажде чудодейственных лекарств. Эпикура, самого нефанатичного из мудрецов, не жаловали ни прежде, ни теперь. Призывы к освобождению Человека общество обычно встречает с недоумением и даже со страхом. Да и как рабы освободят Раба? Так можно ли верить, что

история, эта бесконечная цепь ошибок, способна тянуться еще долго? Час закрытия скоро пробьет во всех садах.

Любитель мемуаров

Мистики различают человека внутреннего и внешнего и отдают предпочтение первому как в точном смысле полноценному существу; второй же, мрачный или смешной паяц, по праву отходит в ведение моралистов: они порицают и вместе с тем оправдывают его; их одновременно отвращает и привлекает его ничтожество, и они не могут преодолеть эту двойственность, не впадая в уныние, то бишь злокачественную скорбь; устоять способен разве что такой, как Паскаль, умеющий возвыситься над страстями. Из-за этого своего качества он не оказал никакого влияния на мемуаристов, тогда как, к примеру, желчность Ларошфуко оказалась крайне заразительной и окрасила все вышедшие из-под их перьев рассказы и портреты.

Моралист не повышает голоса, не допускает резкостей, он хорошо воспитан и потому выражает омерзение к ближним изящно и, главное, немногословно… Лаконичность — не это ли первейший признак «культурности»? Доказывать же, объяснять, разглагольствовать — безвку-

сица и вульгарность. Кто хоть сколько-нибудь заботится о хорошем тоне должен не искать, а избегать плодовитости, предпочитать слово словесам и добровольно хранить молчание, нарушая его в редкие, краткие и лишь оттеняющие безмолвный фон моменты. Максима, несмотря на сомнительное происхождение, вырабатывает целомудрие, ибо помогает избавиться от непристойного словоблудия. Портрет, не столь сжатый и потому не столь взыскательный, — это чаще всего та же максима, но пожиже или, наоборот, понасыщеннее — у кого как; в исключительных же случаях он может уподобиться максиме *взорвавшейся,* это бывает, когда, желая все вместить и охватить все стороны, он стремится к бесконечности, в этом случае перед нами редчайший пример писателя, которому стало тесно в рамках языка, и он презрел их, покинул их, прихватив с собой все слова… Он вырывает их с корнем, коверкает, перекраивает на свой лад и приспосабливает к своему замыслу, не считаясь ни со словами, ни с читателем, которого подвергает бесподобной, изощренной пытке. До чего невоспитан Сен-Симон! …Но не более, чем сама Жизнь, литературным эхом которой, так сказать, он является. Его не тянет к высоким материям, у

него не найти и следа *«классического стиля»,* он погружен в злобу дня, все его чувства остры и точны, он может быть несправедливым, но никак не фальшивым. Рядом с его портретами все другие кажутся бледными схемами, безжизненными поделками. Его огромное преимущество в том, что он не подозревает о своей гениальности и потому не попадает в жесточайший плен. Не зная препон, не ведая смущения, он несется во весь опор, не сдерживая пыла и не обременяя себя надуманными запретами и угрызениями совести. Это человек тропического темперамента, хотя и истощенный разгульной жизнью; он совершенно не способен подчинить себя известной дисциплине, которой требует рассуждение или самоанализ. У него нет никакого плана, никакого отчетливого замысла. Думаешь, что читаешь дифирамб, но вдруг понимаешь, что ошибся: неожиданный штрих, хлесткий эпитет выдают памфлет, а на самом деле перед тобой не хвала и не хула, а живой характер, примитивный и каверзный, *плевок* Хаоса посреди блестящего Версаля.

Госпожа дю Деффан[4], читавшая «Мемуары»

[4] Примечания: 4

Дю Деффан Мари, маркиза (1697–1780) — французская аристократка, писательница, автор страстных любовных писем, хозяйка влиятельного литературного салона.

в рукописи, нашла их стиль «отвратительным». Вероятно, таково же было мнение Дюкло[5], также штудировавшего их, дабы почерпнуть детали о Регентстве, историю которого он описывал невыносимо скучно, так что получался этакий подслащенный, придушенный изящными манерами Сен-Симон. Иссушающая четкость языка XVIII века, его отказ от всего неправильного и незаурядного, от излишеств и самовольства привели к тому, что он опустился до *совершенства,* до омертвения. Став бледной, искусственной, тепличной культурой, боящейся малейшего сквозняка, он никоим образом не мог произвести на свет вполне оригинальное произведение, ибо в нем непременно содержится нечто нечистое или шокирующее. Зато наплодил великое множество книжек, написанных гладким, без сучка и задоринки и без всякого подтекста, слогом, выхолощенным, обескровленным, отжатым модой и инквизицией святой Ясности.

«У меня нет времени на хороший вкус». Это, не помню кому приписываемое, высказывание — не просто удачная острота. Вкус — это и в самом

---

[5] Примечания: 5

Дюкло Шарль Пино (1704–1772) — французский писатель, придворный историограф, член Французской академии.

деле привилегия досужих дилетантов, тех, у кого много лишнего времени, которое они употребляют — причем себе во вред — на всякий вздор и никчемные условности.

«Как-то утром (то было в воскресенье) мы дожидались принца де Конти, дабы идти к мессе; мы сидели в гостиной вокруг стола, на который сложили свои часословы, и супруга маршала (Люксембургского) небрежно их перелистывала. И вдруг ее внимание остановили необычные молитвы, поразившие ее *весьма дурным вкусом* и впрямь составленные в самых нелепых выражениях» («Записки» госпожи де Жанлис).

Не дико ли требовать от молитвы, чтобы она применялась к литературным нормам, была *хорошо написана.* В ней куда ценнее неловкость и безыскусность — свидетельства *искренности.* Это качество было не в чести у мастеров словесных пируэтов, которые ходили в церковь с тем же настроением, что на охоту или на званый ужин. Им явно не хватало необходимой для благочестия серьезности; единственное, что они ценили и о чем заботились, — это *изысканность.* Суждение маршальши роднит ее с одним кардиналом эпохи Возрождения, который, по его словам, так любил латынь Вергилия и Саллюстия, что не мог

выносить грубый язык евангелистов. Сверхутонченность несовместима с верой: хороший вкус и Высшая Сила друг друга исключают… Ни один бог не выдержит критической улыбки или легкого сомнения, зато сокрушительное сомнение так и норовит уничтожить себя самое, так и лезет из кожи вон. Ну да в обществе, где утонченность граничит с акробатикой, таких крайностей не сыщешь днем с огнем.

В каждом языке, по логике развития и в силу самой его природы, содержится некий метафизический потенциал; во французском же, особенно во французском XVIII века, его почти нет: из-за своей вызывающей, нечеловеческой ясности и отказа от всякой неопределенности, от исконной, бередящей душу темноты этот язык стал таким средством выражения, которое может со всех сторон подступать к непостижимому, но не способно его коснуться. Чаще всего непостижимое, как и головокружительное, если его не вводят нарочно, преднамеренно, появляется во французском как результат логического или синтаксического упущения.

Мертвый язык, по замечанию одного лингвиста, отнимает право на ошибки. Иначе говоря, отнимает право на малейшие новшества. Такой

же степени окостенелости и законченности достиг французский язык в эпоху Просвещения. После Революции чистоты и суровости в нем поубавилось, и столько же, сколько потерял в совершенстве, он выиграл в естественности. Чтобы уцелеть и выжить, ему было необходимо испортиться, обогатиться путем нового загрязнения, выйти из салонов на улицу. Это разом сократило сферу его влияния и сияния. Ведь языком культурной Европы он мог быть лишь тогда, когда, чрезвычайно обедненный, достиг абсолютной прозрачности. Любое наречие приближается к универсальности, когда отрывается от своих корней, отдаляется и отрекается от них. Но далее, если оно хочет набраться сил, не потерять почву под ногами и не омертветь, ему придется отказаться от чрезмерной требовательности, сломать рамки и нормы и запачкаться *дурным вкусом.*

На протяжении всего XVIII столетия разворачивалось захватывающее зрелище разлагающегося общества, прообраза достигшего конца и отучившегося уповать на завтра человечества. Жизнь без будущего перестала быть уделом одного класса и распространилась на все, таким образом установилась полная демократия опустошенности. Чтобы вообразить эту заключительную

стадию, не нужно напрягать фантазию — вокруг немало вещей, дающих о ней представление. Само понятие прогресса срослось с мыслью о развязке. Народы повсеместно жаждут приобщиться к искусству самоуничтожения и движутся к этому с такой страстью, что во имя ее утоления готовы забыть о тормозах. В конце блестящего просвещенного века возвышался эшафот; конец истории, скорее всего, будет украшен чем-то более грандиозным.

Общество, прельщенное перспективой собственной гибели, рухнет при первых же ударах; лишенное воли к жизни, обезоруженное перед осаждающими его силами, оно не устоит перед соблазном крушения. Революция победила потому, что власть была иллюзорной, «тиран» же стал пугалом, так что она буквально сражалась с призраками. Да и любая революция торжествует только в том случае, если вступает в схватку с *отжившим* строем. Это справедливо для всех больших перемен и поворотов истории. Готы захватили не Рим, а его останки. Единственной заслугой варваров был хороший нюх.

Символом разложения, загнивания в начале века был сам Регент. В нем прежде всего поражает полное отсутствие «характера». В государствен-

ных делах он проявлял ту же бесшабашность, что и в частных: те и другие интересовали его лишь постольку, поскольку давали пищу остроумию. Одинаково изменчивый в страстях и пороках, он предавался им, так сказать, скуки ради, из равнодушия. Он был неспособен ни любить, ни ненавидеть и пренебрег всеми дарованиями, которыми обладал в избытке, но которые ему было лень развивать. «Не просто непостоянный во всем, но даже не понимающий, как можно поступать иначе», — пишет о Регенте Сен-Симон и далее говорит о его «полной бесчувственности, по причине которой жесточайшие, смертельные оскорбления не вызывали у него никакого озлобления; а поскольку приязнь и неприязнь, мстительность и благодарность имеют общий корень, общую жилу, а он таковой был лишен, это влекло за собой бесчисленные и весьма тяжкие следствия».

То был форменный дегенерат, ни на что не годный, невероятно безвольный, в высшей степени легкомысленный, первый из хлынувших во множестве сверхутонченных выродков, завороженных близкой катастрофой и достойных в ней погибнуть. Разумеется, все дела, зависевшие от такого человека, пришли в упадок. Современни-

ки не просто винили его в этом, но сравнивали с Нероном, хотя, право же, им стоило быть к нему поснисходительнее и радоваться тому, что его расхлябанность и шутовство облегчали гнет абсолютизма, который им приходилось терпеть. Да, бесспорно, им, как куклой, управляла шайка жуликов с аббатом Дюбуа во главе, но разве разгильдяйство веселых развратников в конечном счете не лучше, чем бдительность неподкупных? Да, Регенту[6] не хватало «жизненного корня», но, с другой стороны, этот изъян можно счесть достоинством, поскольку благодаря ему в обществе была возможна свобода или то, что под ней разумелось.

Аббат Галиани (которого высоко ценил Ницше) был одним из немногих, кто понял, что как раз тогда, когда особенно много говорилось о притеснениях, на деле порядки были весьма терпимыми. Скептический и вечно колеблющийся Людовик XV — совсем не то, что тупой и упрямый Людовик XIV. «Достаточно сравнить, как жестоко иезуиты преследовали отшельников Пор-Рояля и как мягко обходились с энциклопедистами, чтобы увидеть разницу в правлении, привычках

[6] Примечания: 6

Имеется в виду Филипп, герцог Орлеанский (1674–1723), в 1715–1723 гг. бывший регентом при малолетнем Людовике XV.

и душевном складе двух королей. Один жаждет увековечить свое имя и любой шум вокруг него принимает за славу; другой — славный малый, которому досталось ремесло монарха, гнуснейшее из всех и самое для него отвратительное. Да такого царствования не бывало нигде и никогда».

Однако аббат не учел того, что терпимость, хоть она и хороша и хоть ее одной хватает для оправдания целой жизни, сама по себе является симптомом слабости и разложения. Ему, якшавшемуся с такими заядлыми охотниками за миражами, как просветители, эта трагическая истина не могла открыться; она стала очевидной позднее, в более трезвые, более близкие к нам времена… Теперь мы знаем, что тогдашнее общество было терпимо, потому что не имело сил для подавления, то есть для самосохранения. «Душу его составляло *ничто»,* — сказал Мишле[7] о Людовике XV. С еще большим основанием он мог бы отнести это к Людовику XVI. Вот разгадка блестящего и обреченного времени. Причина мягкости нравов — в смертельном недуге.

Революцию разбудила чрезмерно роскошная

---

[7] Примечания: 7
Мишле Жюль (1798–1874) — известный французский историк.

жизнь тех, кому уже не было нужно ничего, включая собственные привилегии, за которые они цеплялись машинально, без всякого вожделения или ожесточения, ибо питали явную склонность к идеям своих убийц. Симпатия к противнику — отличительный признак немощи, то есть терпимости, которая в конечном счете есть не что иное, как *кокетство умирающего.*

«У вас богатый опыт, — писала маркиза дю Деффан герцогине де Шуазель[8], — но есть нечто, чего вам не довелось и, надеюсь, никогда не доведется изведать: это состояние, когда вы утрачиваете чувствительность и в то же время понимаете, что не можете без нее обойтись».

Эпоха, о которой мы говорим, достигнув апогея искусственности, тосковала по наивности — как раз тому качеству, которого в ней совсем не осталось. Свежими, то есть подлинными, чувствами, как считалось, обладают дикари, простаки или глупцы, уподобление которым абсолютно невозможно для тонких умов, не приспособленных к бесхитростной «глупости» или простодушию.

---

[8] Примечания: 8

Шуазель Луиза-Онорина, урожденная Кроза дю Шатель, герцогиня де (1737–1801) — супруга герцога Этьенна-Франсуа де Шуазеля, министра иностранных дел Франции в 1758–1770 гг., подруга госпожи дю Деффан.

Интеллект, достигший главенства, беспощадно изгоняет все чуждое себе и не оставляет в душе ни островка «сырой» территории, за который можно было бы ухватиться. Кто стал рабом или поклонником тирана-рассудка, тот неизбежно «утрачивает чувствительность» и сожалеет о том, что предался идолу, распространяющему вокруг лишь пустоту. Письма госпожи дю Деффан, полные чудовищной рациональности, гипертрофированного умствования, беспредельного сомнения и нерешительности, — неподражаемое свидетельство того, до чего доходит усеченный, выпавший из *естества* человек. К несчастью, стоит рассудку проснуться, как его уже не остановить ни хитростью, ни силой — пути назад нет. А где он прошелся, «живого места» не остается, нормальные реакции глохнут. «Ни увлечься, ни обжечься», — говорила о себе сама маркиза. И понятно, почему ее связь с Регентом длилась не более двух недель. Они были похожи, оба поражены страшным недугом: отчуждением эмоций. Не в пропасти ли, разделяющей ум и чувства, развилась снедавшая обоих скука? Ничего спонтанного, непроизвольного… Первой от всего этого

страдает «любовь», то, чему Шамфор[9] дал прекрасное определение, которое как нельзя лучше соответствует духу эпохи, исчерпывавшемуся «капризом» и «поверхностным слоем»; хвалился же Ривароль[10], что может в момент любовной судороги решать геометрическую задачу. Спазмы и те подчинены рассудку! Хуже всего то, что такое извращение чувств не просто постигло кучку одиночек, но стало дефектом, язвой целого класса, измученного привычкой к иронии.

Любое поползновение к свободе нравов, как и любое ее проявление, имеет свою отрицательную сторону: стоит нам лишиться оков (невидимых!), лишиться внутреннего сдерживающего начала, и мы, недостаточно сильные и недостаточно невинные, чтобы наложить на себя какие-либо другие ограничения, превратимся в толпу бессильных слюнтяев, более сведущих в теории, чем в практике любовной науки. Нельзя давать много воли разуму, не подвергаясь опасности, так же как нельзя безнаказанно избавляться от многих

---

[9] Примечания: 9

Шамфор Себастьян Рош Никола (1741–1794) — французский писатель, мыслитель-афорист. Покончил с собой во время якобинского террора.

[10] Примечания: 10

Ривароль Антуан де (1753–1801) — французский писатель и журналист, блестящий сатирик и острослов.

полезных запретов. Но если разум от избытка разрастается, то избыток свободы (штука столь же пагубная, но действующая противоположным образом) неукоснительно убивает всякую свободу. Вот почему движение эмансипации, в какой бы области оно ни возникало, представляет собой и шаг вперед, и предвестие конца.

Если в народе больше не находится никого, кто не побрезговал бы *прислуживать*, то такой народ обречен, и точно так же обречено общество, где каждый человек, кичась своей неповторимостью, не желает больше заниматься второстепенной работой, пусть даже самой *почетной.* (Уже Монтескье отмечал в своих «Записках»: «Все, что имеет определенный предмет, становится в тягость: военные тяготятся войной, кабинетные ученые — кабинетом, это относится и ко всем прочим занятиям».) И все же, несмотря ни на что, человеческий род существует и будет существовать до тех пор, пока не расстанется с последним предрассудком, последним верованием; когда же он наконец решится на это, то, ослепленный и ошеломленный собственной смелостью, окажется перед бездной, что разверзается вслед за крушением всех догм и табу.

Кто хочет влиться в действительность или

обрести убеждения и никак не может, тот из зависти осмеивает тех, у кого это получается само собой. Ирония рождается из неутоленного и безуспешного стремления к простоте: каждая неудачная попытка распаляет досаду и желчь. Раз проснувшись, ирония непременно становится всеохватной, и если она с особым ожесточением нападает на религию и подрывает ее, то это потому, что втайне испытывает горечь, из-за того что не может уверовать. Но еще вредоноснее систематическая злобная насмешка, граничащая с самоуничтожением. Когда в 1726 году маркиза де При[11] была сослана в Нормандию, госпожа дю Деффан последовала за ней. И, как рассказывает Лемонте в «Истории Регентства», «приятельницы каждое утро обменивались сочиненными накануне друг про друга сатирическими куплетами».

Понятно, что в кругу, где злословие вошло в обыкновение и где жертвовали сном из страха остаться наедине с собой («Она была готова на что угодно, лишь бы не подчиняться тоскливой необходимости ложиться спать», — говорил Дюкло об одной модной светской даме), не осталось ничего святого, кроме беседы — обмена колкостями,

[11] Примечания: 11

Маркиза де При — Жанна Аньес Бертло де Пленёф (1698–1727) — возлюбленная Филиппа Орлеанского.

ядовитыми стрелами в обличье веселых шуток. Не щадили никого, не зря одной из характерных черт того времени называли «неспособность восхищаться». Все связано: когда нет ни простоты, ни веры в Бога, невозможно восхищаться людьми, видеть изначальную самоценность неповторимой человеческой личности, не зависящую от преходящих обстоятельств; ведь восхищение — это внутреннее преклонение, не вынужденное бессилием, не унизительное, а естественное и благотворное чувство, преимущество чистых душ, каковых не найти среди завсегдатаев светских салонов.

Интересной историей обладают лишь драчливые, неуживчивые, завистливые, вздорные народы; так, например, в высшей степени интересна история Франции. Она изобилует не только событиями, но и, в еще большей мере, писателями, о них повествующими, а это настоящее сокровище для любителя мемуаров.

Француз может быть и взбалмошным, и фанатичным, может руководствоваться в суждениях и прихотью, и принципом, но принцип всегда имеет у него вид прихоти. Словоохотливость — главнейшее свойство его характера, именно она причина непрестанной смены режимов, за

которой он наблюдает с любопытством или даже с увлечением, тщательно следя за тем, чтобы и в порыве страсти не показаться простаком, и получая то выгоду, то вред от знаменитого «литературного духа», который, по определению Токвиля[12], ищет «затейливого и нового больше, чем истинного, любит живописное больше полезного, ценит искусство и дикцию актеров независимо от качества пьесы и принимает решения, полагаясь на впечатления, а не на доводы». «Французский народ, — прибавляет Токвиль, — чаще всего судит о политике как литератор».

Меньше, чем кто бы то ни было, литератор способен разбираться в государственных делах и проявляет в них некоторую компетентность лишь во времена революций, как раз потому, что в эту пору исчезает власть, и пока ее нет, возникает иллюзия, что все можно решить красивой фразой и жестом. Его волнуют не столько гарантирующие свободу установления, сколько ее видимость, имитирующая ее ужимки. Неудивительно, что деятели 89-го года вдохновлялись идеями лунатика Руссо, а не Монтескье, основательного, не склонного к пустословию

[12] Примечания: 12

Токвиль Алексис ле (1805–1859) — французский писатель, историк, политический деятель.

философа, — этот последний не годился в кумиры для сентиментальных или кровожадных витий. В англосаксонских странах любой гражданин может дать волю своей блажи, желанию поспорить и поскандалить в разных сектах, поэтому в религии там царит разномыслие, а в политике — единообразие. Напротив, в странах католических бредовые наклонности личности могут реализоваться только в ниспровергающих все и вся партиях и смутах, только так она может утолить свою жажду ереси. И ни одна нация еще не нашла способа быть одинаково *благоразумной* в политике и в религии. Но даже если бы такое средство было открыто, французы воспользовались бы им в самую последнюю очередь, ведь даже революцию они, если верить Талейрану, совершили из *тщеславия;* этот порок так глубоко укоренился в их натуре, что стал добродетелью или, во всяком случае, пружиной, побуждающей их проявлять себя, действовать и особенно *блистать;* этим же объясняется их *остроумие,* неотразимый интеллект, потребность любой ценой одерживать верх над другими и оставлять за собой последнее слово. Однако хотя тщеславие оттачивает способности, уберегает от пошлости и серости, оно делает того, кто им одержим, бес-

конечно уязвимым; и французы заплатили за свои многочисленные успехи немалыми муками. Целое тысячелетие они оставались центром истории, такое не проходит даром, их искуплением было и остается вечно воспаленное, неутолимое, неудовлетворенное самолюбие. В расцвете славы им ее казалось мало, теперь же они жалуются, что лишились ее совсем. Такова незавидная участь народа, который в счастье страдает не меньше, чем в несчастье, всегда ненасытен и переменчив, слишком избалован судьбой, чтобы научиться скромности и смирению, неспособный спокойно принимать ни нежданную милость, ни неотвратимую беду.

После конца истории

Конец истории предопределен тем, что у нее имелось начало; человек и история подчинены времени, человек и время отмечены одними и теми же стигматами.

Время есть некая непрерывная беспорядочность, самодробящаяся бесконечность, оно само по себе грандиозная драма, ярчайший же эпизод этой драмы — история. Не та же ли в ней беспорядочность, не то же ли бешеное дробление, лихорадочное стремление установить нечто там, где уже нечему установиться?

Христианские богословы справедливо именуют нашу эпоху постхристианской, точно так же наши далекие потомки будут когда-нибудь рассуждать о том, хорошо или плохо им живется в эпоху постисторическую. Что ни говори, а было бы любопытно окунуться в этот сумеречный опыт: смена поколений и череда грядущих «завтра» прекратится, а на руинах исторического времени наконец возникнет самодовлеющее бытие и снова станет тем, чем было, покуда не погрязло в истории. Историческое время так на-

пряжено, что попросту не может не взорваться. Вот-вот пружина лопнет — мы ощущаем это каждый миг. Возможно, это будет не так скоро, как нам кажется. Но катастрофа неизбежна, сомнений нет. И только после того, как она произойдет, уцелевшие счастливчики, жители постисторической эпохи, узнают, чем же была история. «Отныне никаких событий!» — воскликнут они. Таким вот образом завершится самая причудливая глава вселенской эпопеи.

Понятно, что возглас прозвучит, лишь если крушение окажется не окончательным. Полный же успех радикальным образом упростит проблему подавления *будущего.* Однако совершенные катастрофы крайне редки, говорю это, чтобы унять тех, кому неймется и кто любит размах, хотя в данном случае более пристало смирение. Не всем дано воочию наблюдать Потоп. Не трудно представить себе, каково тем беднягам, которые его предчувствовали, но не дожили до того, чтобы увидеть воочию.

Чтобы положить конец распространению такого аномального животного, как человек, хороши все средства, и люди все больше ощущают необходимость и потребность заменить естественные бедствия еще более эффективными искусствен-

ными. Идея светопреставления носится в воздухе. Чуть выйдешь на улицу, посмотришь, поговоришь, послушаешь — и сразу поймешь, что час близок, пусть даже до него осталось еще сто или тысяча лет. Тень близкой развязки придает своеобразный пафос самым обыденным делам, самым банальным зрелищам, самым глупым случайностям. Чтобы не заметить этого, надо упорно отворачиваться от Неизбежного.

Пока история протекает более или менее размеренно, каждое событие представляется причудой, коленцем в общем ходе вещей, но как только ритм сбивается, все обретает знаменательность. Во всем, что бы ни произошло, видится симптом, предупреждение, все побуждает к многозначительным выводам. В нейтральные — если можно так выразиться, в «абсолютные» — эпохи событие есть одно из многих, рядовых проявлений настоящего, оно имеет самодовлеющее значение и словно бы выпадает из времени. Напротив, в критические времена, которые завихряются в бесконечные круги ада, каждая мелочь становится ступенькой к гибели, вписывается в картину, нарисованную в «Самъютта-никае»: «Мир охвачен пламенем, мир задыхается в дыму пожарищ, мир пылает и содрогается». Злорадное чудовище

Мара держит когтями и зубами колесо рождения и смерти, во взгляде ее (на тибетских изображениях) то вожделение, та тяга ко злу — подспудная в природе, полуосознанная у людей и явная у богов, — та ненасытная злая воля, разрушительное проявление которой мы видим в нескончаемой цепи событий и которую приписываем идолам. Ужас истории — единственное доступное нам подобие ужаса перевоплощений. Однако с существенной оговоркой. Для буддиста переход от одного существования к другому — кошмар, из которого он стремится вырваться. На это направлены все его силы, он совершенно искренне, как величайшего бедствия, боится новых рождений и смертей, и ему чужда сама мысль тайно этим бедствием наслаждаться. Снисходительного отношения к злу, к подстерегающим извне и особенно изнутри опасностям в нем нет и быть не может.

Иное дело — мы. Мы заигрываем с тем, что нам угрожает, лелеем то, что сами прокляли, жаждем того, что для нас губительно, мы от своего кошмара ни за что не откажемся, мы надавали ему столько названий с большой буквы, сколько напридумали иллюзий. Иллюзии лопнули, большие буквы умалились, но кошмар остает-

ся, обезглавленный, голый, и мы продолжаем любить его, потому что он *наш* и нам нечем его заменить. Если бы стремящийся к нирване вдруг устал гоняться за ней, махнул на нее рукой и нырнул в сансару, став пособником собственной гибели, вот тогда он повел бы себя совсем как мы.

Человек делает историю, история же разделывается с человеком. Человек одновременно ее творец и объект, двигатель и жертва. До недавнего времени он полагал, что управляет ею, теперь же знает, что она ему неподвластна, что все бессчинно и неразрешимо в этой безумной эпопее, конец которой не означает достижения цели. Как и какую цель предписать ей? Да если бы она и была… Как только цель достигнута, наступает конец процесса. Значит, осчастливлены будут только последние отпрыски человеческого рода, выжившие, *оставшиеся,* они одни пожнут плоды бесчисленных усилий и страданий предыдущих поколений. Но это откровенная несправедливость, гротеск. Кому позарез хочется, чтобы история имела смысл, пусть лучше ищет его в тяготеющем над ней проклятии и нигде более. В таком случае жизнь отдельного индивида осмысленна постольку, поскольку его тоже затрагивает

это проклятие. Какой-то злокозненный демон распоряжается путями истории. Цели у нее нет, вместо этого над ней тяготеет рок, придающий ее ходу мнимую закономерность. Этот рок, и только он, позволяет всерьез говорить о логике истории и даже о провидении, правда несколько подозрительном, чьи замыслы не столь неисповедимы, как замыслы другого Провидения, слывущего благостным. Оно действует таким образом, что подведомственные ему цивилизации постоянно сбиваются с пути, идут не туда и наконец рушатся с упрямым постоянством, которое выдает происки темной глумливой силы.

«История еще только начинается», — думают некоторые, забывая, что история исключительное и по сути своей недолговечное явление, этакая прихоть, передышка, оплошность… Участвуя в ней, питая ее, человек расточился, ослаб, истощился. Пока он оставался близок своей первоначальной, хотя и извращенной им природе, то еще мог рассчитывать на долгое существование, отвернувшись же и начав окончательно от этой природы отдаляться, он обрек себя на краткую, всего в какие-то несколько тысячелетий, жизнь. История, порожденная человеком, стала независимой от него, она язвит и мучит

его, она его в конце концов и убьет. Человек погибнет с ней вместе, то будет полный крах, справедливое наказание за самонадеянность и безрассудство, порожденные его потугами сравниться с титанами. Предприятие Прометея с треском провалилось. Нарушив все неписаные законы — а только они и идут в расчет, — выйдя из всех положенных ему границ, человек вознесся слишком высоко и возбудил ревность богов; они решили прикончить его и ждут с ножом за углом. Конец исторического процесса неотвратим, неизвестно только, грянет ли он в одночасье или растянется надолго. Судя по всему, человечество, несмотря на свои достижения, а вернее, благодаря им, скатывается в пропасть. Если для каждой отдельной цивилизации сравнительно легко обозначить точку апогея, то совсем иначе обстоит дело с историческим процессом в целом. Что считать его вершиной? Где она располагается? В античной Греции, Древней Индии или Китае? Или где-нибудь на Западе? Любой однозначный ответ заведомо пристрастен. Бесспорно одно: лучшее, что было в человеке, он уже отдал. И если предположить, что на наших глазах возникнут другие цивилизации, они, конечно же, не будут равноценны ни древним, ни даже современным,

а кроме того, и они неизбежно будут поражены жестко запрограммированным вирусом распада. Такова, с доисторических времен до наших дней и впредь, от нашего времени к постисторическому, дорога к крушению, которое готовилось и предвиделось во все эпохи, включая самые процветающие. Все и всегда видели грядущее как дорогу к гибели, даже утописты: недаром государства, которые они придумывали, были намеренно извлечены из реальной истории и помещены в особый кокон, где время не течет и потому гибельное грядущее застыло. Но история, которой заправляет Ариман[13], затаптывает эти бредни и отметает всякую возможность рая, даже потерянного, делая таким образом утопии абсолютно беспочвенными. Весьма характерно, что мы наталкиваемся на понятие рая каждый раз, когда хотим уразуметь сущность истории. Дело в том, что только так, от противоположного, и можно ее постичь, ибо история — не что иное, как последовательное отрицание, нарастающее удаление от исходного состояния, изначального чуда. Пусть оно всего лишь притягательная легенда, вызывающий ностальгию-*кит*ч… Когда

[13] Примечания: 13

Ариман (Ахриман) — верховное божество зла в зороастрийской религии.

движение к концу завершится, история достигнет своей «цели» и от первоначального состояния — не важно, правда это или вымысел, — совсем ничего не останется. Если представить себе рай в прошлом еще возможно, то в будущем — никак; он мыслим не иначе как *до* истории, и это придает ей зловещий оттенок, так что задаешься вопросом: не лучше ли было ей остаться потенциальной возможностью?

Однако важнее размышлять не о «будущем» — оно внушает страх, но не более, — а о *конце*, то есть о том, что наступит после будущего, когда историческое время, сопряженное с человеческой волей, прекратится и прекратит тем самым существование народов и империй. Останется освободившийся от бремени истории и совершенно обессиленный, уже не мнящий себя исключительным человек с опустошенным сознанием, которое нечем заполнить. Искушенный и разочарованный троглодит. Пойдет ли он путем далеких предков, и станет ли в этом случае постисторическая эпоха усугубленным повторением доисторической? Каким будет этот человек, отброшенный всемирным катаклизмом назад к пещерам? Как поведет себя тот, на ком замкнулись две разделенные огромным интер-

валом оконечности и кто отрекся от нажитого за это время наследства? Протрезвевший и одряхлевший, он не захочет и не сможет измышлять новые ценности и иллюзии взамен рухнувших. И тогда игра, по правилам которой до тех пор одна цивилизация сменяла другую, будет окончена.

После всех своих блестящих завоеваний и свершений человек начинает выходить из моды. Единственное, что еще может представлять интерес, — это наблюдать за тем, как, прижатый к стенке, он агонизирует, и гадать, скоро ли задохнется совсем. До сих пор он еще как-то тянет только потому, что не хватает силы капитулировать, прекратить скатывание *вперед* (чем по преимуществу является история), — слишком велика инерция скольжения. Трудно сказать, что именно в нем повреждено, но изъян очевиден. Можно возразить, что он был в нем с самого начала. Да, но тогда весьма незначительный для него, еще полного мощи. Ничего общего с нынешней зияющей трещиной. Она результат долгого саморазрушения злосчастного существа, плод его подрывной деятельности, направленной сначала на все вокруг, а потом и на себя. Выдавая войну против себя за гордое восстание, оно расшатало собственные основы (именно к

этому ведет *анализ*, психологический или любой другой) — основы своей личности, своей деятельности. И вот поражены сокровенные глубины, прогнило все до корней. Мы и ощущаем себя людьми не прежде, чем осознаем эту нутряную испорченность, до недавней поры еще как-то прикрытую, но обнажающуюся все больше и больше, по мере того как мы исследуем и взрываем все, что существовало в нас в скрытом виде. Став прозрачным для самого себя, человек окажется не способен более ни на какие действия, ни на какое «творчество». Прозрев, лишившись наивности, он полностью истощится. Где найти энергию, чтобы упорствовать в том, что требует хоть какой-то свежести и ослепления? И если относительно себя он порой может обольщаться, то относительно судьбы всего рода людского — ни в коей мере. Только глупец может утверждать, что человек еще в начале пути. На самом деле эта чудом держащаяся на ногах развалина бредет к последнему акту и там предстанет мудрецом, которого *разъела* мудрость. Да, человек — сплошное гноище, его гложет гангрена, и таковы мы все. Мы двигаемся гуртом к невиданной дотоле сваре, когда все набросятся друг на друга, как буйно помешанные, как взбесившиеся марионетки,

потому что все станет невозможным, непереносимым, — а единственным стоящим делом для тех, кто останется жить, будет уничтожать себя и себе подобных. Одно лишь возбуждение еще доступно нам — агония перед кончиной мира. А потом — вечное оцепенение: роли сыграны, сцена опустела, и можно всласть пережевывать эпилог.

По известному выражению, что сегодня суета — когда-нибудь станет историей, и это не делает ей чести… Не стоило бы придавать значения всему текущему и происходящему, однако слабонервные на это не способны. Ну а в броне презрения — откуда взяться живому переживанию? Настоящий историк — это человек без кожи, который носит маску объективности, страдает и упивается страданием. Вот почему он горячо участвует во всем, что описывает. Например, Тацит вовсе не с заоблачных высот взирал на ужасы, о которых рассказывал; нет, он осуждал, он смаковал их, варился в них, был ими заворожен. Без устали говоря о бесчинствах, он начинал скучать, едва несправедливость и злодейства шли на убыль. Ему, как позднее Сен-Симону, были ведомы восторг негодования, сладость ярости. Юм утверждал, что Тацит — самый глубокий ум ан-

тичности, самый, добавим от себя, живой и самый близкий к нам своим мазохистским духом, этим то ли пороком, то ли необходимым свойством всякого, кто вглядывается в дела человеческие, будь то хроника дня или конец света.

Внимательно рассматривая самое незначительное происшествие, легко заметить, что положительные и отрицательные стороны в нем, самое большее, уравновешивают друг друга, обычно же отрицательных куда больше. Лучше всего было бы, если бы оно вообще не имело места. В таком случае мы избавились бы от необходимости терпеть его и принимать в нем участие. Чего же ради *добавлять* к тому, что уже имеется или имеет видимость? Истории, этой бессмысленной одиссее, нет оправданий, а порой возникает искушение замахнуться и на искусство, какой бы настоятельной потребности оно ни отвечало. Ведь творческий импульс в нем — нечто побочное, главное же — разобраться в себе, проявить себя максимальным образом, какой бы ни была форма этого самовыражения. Возводить соборы так же нелепо, как устраивать побоища. Было бы лучше попытаться жить вглубь, чем нестись сквозь столетия в погоне за гибелью. Нет, решительно, в истории нет спасения. Ее никоим

образом нельзя считать основным измерением человечества, она лишь апофеоз того, что на виду. Так, может быть, когда придет конец этой поверхностной авантюры, мы обретем первоначальную суть? Сможет ли располагающий полным досугом постисторический человек найти в себе вневременное содержание, которое было задушено в нас историей? Зачтутся исключительно те мгновения, которые она не затронула. Только среди людей, способных открыться навстречу таким мгновениям, возможно общение и понимание. Кульминационные точки, подлинные вершины прошлого — это эпохи метафизических исканий. Ближе всего к неуловимой сущности подступают внутренние прозрения, пусть они длятся порой секунду, зато перевешивают всю жизнь и вообще стоят больше, чем время.

«15 октября 1764 года в Риме, когда я, задумавшись, сидел на руинах Капитолия и слушал, как босоногие монахи поют вечерню в храме Юпитера, меня впервые осенила идея написать историю заката и падения этого города».

Все империи рано или поздно ждет конец: просто ли распад, катастрофа или то и другое вместе. Такие же варианты предстают перед человечеством в целом. Вообразим будущего Гиббона,

размышляющего о том, чем оно было, — если, конечно, останется еще какой-нибудь историк по завершении не одной, а всех эпох. Как сможет он описать нашу одержимость, буйные страсти — источник нашей энергии, — он, живущий среди совсем иных людей, которые погружены в святую инертность, дошли до последней стадии немыслимого процесса разрушения и навсегда освободились от маниакальных идей утверждать себя, оставлять после себя след, отмечать свое присутствие на земле? Как поймет нас, не способных усвоить статичную картину мира и сообразовываться с ней, отбросив навязчивую идею постоянно действовать? Нас губит — уже погубило! — стремление иметь судьбу, не важно какую; это извращение — движущая сила истории. Однако если оно уничтожило, умертвило нас, то оно же и спасет, поскольку с идеей судьбы сопрягается тяга к трагическому финалу, к верховному, превосходящему все бывшие прежде событию, величайшему, дотоле небывалому кошмару. Ну а коль скоро единственно возможной развязкой оказывается катастрофа, а единственным выходом, единственным шансом — постистория (если допустить, что она достижима), то логично задаться вопросом: не лучше ли человечеству

исчезнуть сейчас же, чем томиться и изводиться ожиданием и обрекать себя на переживание агонии, в которой ничего героического — даже героической кончины — не останется?

К худшему будущему

Судя по всему, брезжит конец истории, а вместе с ним конец того существа, за счет которого она развивалась. Существо это покоилось в себе, история же извлекла его наружу и приобщила к своим конвульсиям, став тем поприщем, на котором оно беспрерывно ухудшалось и разрушалось. Могла ли та драма, которой изначально ознаменована история, не сказаться теперь, когда она близится к завершению? Могла ли не сказаться на нас, свидетелях ее бурного последнего акта, который, будем честны, мы наблюдаем не без некоторого удовольствия? Этим мы схожи с первыми христианами, большими охотниками до всего наихудшего. Но самое худшее, к их вящему огорчению, не сбылось, вопреки переполнявшим литературу того времени пророчествам. Чем в большем количестве они плодились, словно бы торопя и понукая Божью десницу, тем больше сам Бог терялся и колебался, раздираемый сомнениями. Разочарованные верующие вынужденно признали очевидность: второго пришествия не

будет, парусия[14] откладывается, ни спасения, ни проклятия пока не предвидится. Что в таком случае им оставалось делать, как не ждать, со смирением и надеждой, лучших, то есть последних, времен, конца света? По сравнению с ними мы в завидном положении: наш конец зависит от нас, он в пределах досягаемости, и чтобы его ускорить, не нужно никакого вмешательства свыше. Дивная удача для таких разгильдяев, как мы, — может, хоть ее используем с толком? Как все это с нами произошло? Каким образом по прошествии многих благополучных веков мы достигли такой жизни, которую можно вытерпеть, лишь призвав на помощь весь свой сарказм? Начиная с Возрождения человечество всячески старалось игнорировать предопределенный исход своего пути, очевидные проявления его пагубности. В том, что это ослепление утвердилось, особенно велика заслуга эпохи Просвещения. А следующее столетие прибавило к иллюзиям предыдущего культ Будущего. Он и сегодня, во времена всеобщего отрезвления, не отказался от своих посулов, хотя им мало кто верит. Нет, сам культ еще жив в нас, но мы вынуждены — из страха, благора-

[14] Примечания: 14
Парусия *(греч.)* — второе пришествие.

зумия ради — умерять, подавлять его. Ибо мы убедились, что он уживается с жестокостью и даже прямо ведет к ней или, во всяком случае, от него одинаково легко может произойти великое счастье и великое бедствие. Так бывает с любой теорией, с любым открытием: нас умудрил опыт, и теперь что общего у нас осталось с оголтелыми «просветителями», с маньяками Прогресса? Современники Ньютона удивлялись, как такой могучий ум мог опуститься до комментариев к Откровению. Для нас, напротив, было бы странно, если бы он этим не занимался, и мы стали бы презирать ученого, который без должного уважения относится к этому пророчеству. Впрочем, современному ученому незачем обременять себя толкованиями, которыми попрекали Ньютона, он сам визионер на свой лад и готовит новую редакцию откровений, лишенную пафоса и поэзии и потому более убедительную и действенную, чем старая. Работая все больше и все тщательнее, он наконец так ясно представляет себе результат своих трудов, что ему неловко об этом говорить. Конец времен видится ему чем-то совершенно тривиальным, и удивляет его не то, что этот конец постижим, а то, что все не наступает. Он и ускоряет его изо всех сил, но его ли вина, что

тот медлит и увиливает? Нам тоже не терпится, мы жаждем прихода конца и избавления от мук любопытства. Мы можем намечать это событие на более ранние или поздние сроки, смотря по настроению, однако уже сейчас мы дышим все тяжелее, находя усладу в том, что нас душит, и всеми своими мыслями, даже самыми светлыми, уже работаем на ту ночь, которая их поглотит.

Быть может, недалек день, когда, не в силах больше выносить весь накопившийся в нас страх, мы рухнем под его тяжестью. Огонь небесный падет на *нас,* и, спасаясь от него, мы заберемся в земные недра, подальше от мира, который сами разграбили и испортили. И будем обитать *под* мертвыми и завидовать покою и блаженству этих беспечных, навеки праздных черепов, этих смиренных, мирных костей, наконец освободившихся от капризов крови и потребностей плоти. Копошась в кромешной тьме, мы с облегчением перестанем смотреться в зеркало и с радостью утратим свои лица. У нас будут общие мучения, общие опасности, и все мы сделаемся похожими друг на друга, но и чужими друг другу, как никогда прежде.

Стоит ли пытаться избежать такой судьбы? Подыскать себе какой-либо другой конец не так

уж сложно. Но нужно, чтобы он был правдоподобным и имел хоть какой-то шанс осуществиться. Взгляните, каков человек, — можно ли допустить, что ему дозволено будет тихо угаснуть, достигнув дряхлости и вкушая блага почтенной старости? Да, он уже согбен под бременем тысячелетий, но маловероятно, чтобы ему удалось дотянуть до законного исхода, до полного истощения сил. Напротив, логичнее предположить, что роскошь маразма ему заказана, об этом говорит хотя бы темп его жизни и неумеренность во всем. Положась на свои таланты, он надругался над природой, нарушил ее бездумное прозябание и устроил в ней кавардак, который оборачивается то гнусной, то трагической стороной, и терпеть она его не в состоянии. Скорей бы он издох — таково ее заветное желание, которое человек, будь на то его воля, мог бы немедленно исполнить. Тогда природа избавилась бы от этого смутьяна, одна улыбка которого тлетворна, от этого паразитирующего на ней врага всего живого, от этого узурпатора, который похитил ее тайны и с их помощью поработил и обесчестил ее. Но и сам он стал рабом и жертвой своих бесчинств. Он перешел в своих познаниях и деяниях предписанные земному созданию границы и тем покусился на

естество, на собственные глубинные основы. Его достижения оборачиваются против жизни и против него самого. Вот почему у него такой встревоженный, виноватый вид, вот почему его терзают угрызения совести, которые он пытается заглушить напускной наглостью и деловитостью. Он травится шумом, чтобы спрятаться от себя, уйти от беспощадного внутреннего голоса, донимающего его всякий раз, когда он хоть на миг остается наедине с собой. Тварный мир пребывал в священной дреме и источал прекрасный, неразличимый для слуха гул, человек же, взбаламутив его своим неистовством, своими воплями разъяренного чудища, исказил его до неузнаваемости и навсегда смутил его покой. Исчезла тишина, и это одно из провозвестий конца. Не разврат и бесстыдство, а рев и грохот, железный скрежет и оголтелый ор, которым никак не пресытятся безумные жители нашего Великого Вавилона, принесут ему гибель. Он яростно преследует и истязает любителей уединения, этих сегодняшних мучеников, ежеминутно прерывая их раздумья, поражая звуковым вирусом, разъедая и разрушая их мысли. Как же им, несчастным, не желать, чтобы он поскорее взорвался? Он заражает пространство, пачкает, как грязная шлюха, небо,

землю и людей, изгоняет отовсюду чистоту и порядок. Куда податься, где жить и чего еще искать на этой гремучей планете, превращенной в один вселенский Вавилон? Прежде чем она разлетится на куски, те, кто больше всех страдал, кого она больше всего терзала, получат реванш: только они смогут насладиться развязкой, порадоваться передышке в грохоте, тому краткому и многозначительному безмолвию, которое предшествует великим катастрофам.

Чем могущественнее становится человек, тем он уязвимее. Больше всего он должен опасаться того часа, когда, подчинив себе все мироздание, он триумфально достигнет рокового апофеоза, победы, которой не переживет. Скорее же всего, он исчезнет с лица земли, не успев до конца осуществить своих честолюбивых амбиций. У него и сейчас уже столько силы, что непонятно, зачем ему надо увеличивать ее еще и еще. Такая ненасытность выдает полную несостоятельность, основательный крах. Животные и растения отмечены приметами спасения, человек же — приметами гибели. Это относится к каждому из нас и ко всему людскому роду, ослепленному и сраженному бурным, неискоренимым недугом. Человечество в составе всех своих обреченных

на рабство наций еще продолжает влачить существование по инерции. Каждый народ всего лишь один из проселков истории, и все они ведут к установлению грандиозной диктатуры, единой империи, включающей все континенты. Не останется больше границ и заграниц… а значит, не останется ни свободы, ни иллюзий. Знаменательно, что Книга Конца зародилась в такое время, когда люди и даже боги вынуждены были подчиниться произволу Рима. Всем угнетенным его жестокой тиранией оставалось лишь надеяться, что их освободит некое событие космических масштабов, которое рисовалось им в общих чертах и даже в деталях. Обездоленные грядущей мировой империи тоже впадут в визионерство, будут упиваться мрачными пророческими грезами, которые вытеснят все другие творческие жанры, однако, в отличие от первых христиан, не станут обличать нового Нерона, вернее, будут обличать в нем себя, сделав из него отрицательный идеал, главного грешника — роль, на которую никто из них не дерзнет покуситься.

Не будет ни нового неба, ни новой земли, ни Ангела с ключом от «кладезя бездны» (Откровение, 9:1). Но не сами ли мы владеем этим ключом? Бездна внутри нас и вовне, она вчерашняя до-

гадка, сегодняшнее вопрошание, завтрашняя очевидность. И утверждение, и распад будущей империи будет сопровождаться не бывалыми никогда в прошлом потрясениями. Мы зашли уже так далеко, что исправиться, даже захоти мы того, повернуть назад, внезапно образумившись, для нас уже невозможно. Испорченность наша столь злокачественна, что, сколько бы мы о ней ни думали, как ни старались бы ее преодолеть, все наши усилия ничуть не исцеляют, а лишь развивают и усугубляют ее. Мы предназначены на убой, нам суждено разыграть самый душераздирающий эпизод в драме бытия. Поскольку именно в нас пробудилось зло, дремавшее во всей живой природе, нам и надлежит погибнуть, чтобы спаслись все прочие создания. Потенциально заключенные в них силы разрушения и раздора сконцентрировались и проявились в нас; тем самым мы очистили растительный и животный мир от тлетворной заразы. Однако, благородно принеся себя в жертву, мы тут же пожалели об этом и ожесточились. Мы завидуем их бессознательности — она-то и составляет залог спасения — и хотели бы им уподобиться, но тщетно, а потому замыслили их гибель, стремимся вовлечь их в наши невзгоды, перевалить на них

свои беды. Особенно бесят нас животные — мы бы отдали что угодно, лишь бы вырвать их из бессловесности, сделать говорящими, навязать им скверну речи! Нам нестерпимо, что кто-то наслаждается недоступной для нас прелестью бездумного существования, просто радуется жизни. Сами отбросившие невинность, мы ополчаемся на тех, кто по-прежнему в ней пребывает и, не заботясь нашими злоключениями, нежится в невозмутимой косности. А боги? Не потому ли мы возмущаемся против них, что им дано обладать познанием без страдания, у нас же оно неразрывно сопряжено с муками? Мы проникли в тайну их могущества, тайна же безмятежности осталась заповедной. Как было нам не воспылать местью, как было простить им, что они не расплачиваются за всеведение проклятьем? Но и расправившись с богами, мы не отказались от поисков счастья, причем искали и ищем его по сей день как раз в том, что его отдаляет: упорствуя в познании и гордыне. Чем больше эти два понятия сближаются и сливаются в одно, тем меньше остается в нас нашей первоначальной природы. Мы покоились в пассивности, она была нашей естественной средой, после же изгнания и падения мы погрязли в деятельности, без всякой

надежды когда-либо вырваться или вернуться в родной чертог. Действие ввергло нас в порок, мы, в свою очередь, опорочили действие, и результатом этого взаимно тлетворного влияния явилась история, чуждая всякой созерцательности, бегущая вдогонку за событиями и столь же жалкая, как они. Однажды мы узрим наяву то, что привиделось Иоанну на Патмосе: и «мрачное, как власяница», солнце, и кровавую луну, и смоквами падающие на землю звезды, и небо, что скрылось, «свившись как свиток» (Откровение, 6:12–14). Наши тревоги созвучны тревоге Провидца, мы теперь ближе к нему, чем были наши предшественники, включая писавших о нем и, в частности, автора «Происхождения христианства»[15], который легкомысленно утверждает: «Мы знаем, что светопреставление не так близко, как думали визионеры первого века, и что оно настанет не в виде внезапной катастрофы, а в виде замерзания, которое продлится сотни веков…» Полуграмотный евангелист был прозорливее своего ученого комментатора, закосневшего в современных предрассудках. Ничего удивительного: по мере того как мы восходим ко все

[15] Примечания: 15

Вероятно, имеется в виду Карл Каутский (1854–1938), один из лидеров германской социал-демократии.

более отдаленной древности, мы сталкиваемся с тревогой, подобной той, что испытываем сами. Философия на первых шагах не просто предчувствовала конец, прекращение времен, а обладала очень точной интуитивной осведомленностью об этом. Уже Гераклит, идеально подходящий нам в современники, знал, что мир будет судим «огнем», и даже предполагал, в соответствии с теорией цикличности времен, что таким вселенским пожаром, повторяющимся катаклизмом завершается каждый космический период. Мы, не столь дерзкие и категоричные, довольствуемся *одним-единственным* концом, допустить и претерпеть несколько у нас не хватает сил. Правда, мы допускаем множественность цивилизаций, так же как возникновение и гибель разных миров, но кто из нас смирился бы с идеей бесконечного воспроизведения всей вселенской истории? С каждым происходящим и, на наш взгляд, необратимым событием мы на шаг приближаемся к единой развязке, в соответствии с темпом общего поступательного движения, схему которого мы раз и навсегда усвоили, отвергнув всевозможные бредни. Да, мы продвигаемся, мы, можно сказать, вскачь несемся вперед, к заранее известной катастрофе, а вовсе не к какому-то ми-

ческому совершенству. И чем больше претят нам басни наших ближайших предшественников, тем большую симпатию ощущаем к орфикам, считавшим началом всех вещей Ночь, или к Эмпедоклу, возводившему ненависть в космогоническую добродетель. Но наилучшим образом нам подходят взгляды эфесского философа[16], который утверждал, что орудие управления миром — это молния. Нас больше не ослепляет Разум, мы можем наконец разглядеть иное лицо вселенной: здесь царят потемки, а если уж иной раз их разгонит свет, то это непременно окажется вспышка финального пламени. Другая черта, роднящая нас с досократиками, — это страсть к неотвратимому, которая у них, на заре нашей цивилизации, появилась при первом соприкосновении с существами и стихиями, один вид которых наверняка повергал их в изумление и трепет. Для нас, в конце времен, эта страсть стала единственным способом примириться с человеком, справиться с ужасом, который он нам внушает. Мы покорно или зачарованно смотрим, как он целеустремленно спешит к собственной гибели, упивается всем, что для него смертоносно. Паника — вот

[16] Примечания: 16
Имеется в виду Гераклит (ок. 550 — ок. 480 до н. э.).

его порок и его конек, оправдание его лихорадочной активности и нездорового благоденствия; паника завладела им настолько, проникла в него так глубоко, что отними ее — и он тут же умрет. Однако при всей своей проницательности древние философы не могли предугадать, что в области морали могут возникнуть столь же сложные и неразрешимые проблемы, как и в области материи, — в эпоху их «расцвета» человек еще не успел развернуться… Наше преимущество в том, что мы знаем, на что он способен, точнее, на что способны мы сами. Ибо мы несем в себе этот возбуждающий и разрушающий панический инстинкт, он написан у нас на лицах, им пронизаны наши повадки, он въелся нам в плоть и в кровь. Своими корчами, явными и тайными, мы заразили планету, и теперь она содрогается вместе с нами, ей передаются наши припадки, она бьется в падучей и извергает, проклинает нас.

Досадно то, что мы вступили в завершающую фазу исторического процесса в такой момент, когда из-за отмирания всех старых религиозных воззрений нам не хватает метафизических ресурсов, незыблемых идеальных опор. Агония застигла нас безоружными, и у нас захватывает дух от восторга и жути, как у всякого, кому выпа-

дает на долю попасть в эпицентр восхитительной бури. Имей мы смелость не только смотреть в лицо происходящему, но и приостановить бешеный бег хоть на мгновенье, этой минутной передышки, этой всемирной паузы было бы достаточно, чтобы осознать глубину подстерегающей нас бездны, и тогда порожденный этим прозрением страх быстро превратился бы в молитву или плач, то есть в некий спасительный порыв. Но остановиться мы не можем. В идее неотвратимости нас привлекает некий присутствующий в ней метафизический осадок, то, что она последняя ниточка, еще соединяющая нас с неким подобием высшей силы, без которой невозможно обойтись. Быть может, настанет день, когда и эта ниточка оборвется. И тогда, опустошенные до предела, мы испытаем стыд полного разложения, что гораздо хуже, чем внезапная катастрофа, в которой все же есть нечто приличное и даже почетное. Так будем же разумны, спишем все на катастрофу, такая версия нам больше по нутру. Упредим события на шаг, предположим, что катастрофа уже произошла, отнесемся к ней как к свершившемуся факту. Вероятнее всего, кому-то повезет уцелеть после нее, все увидеть, пережить и извлечь урок. Первой их заботой, без сомнения, будет изгла-

дить саму память о прежнем человечестве и всех деяниях, которые опозорили и погубили его. Они сотрут с лица земли руины проклятых городов, чтобы от них не осталось и следа. Самое чахлое, рахитичное деревце для них будет ценнее, чем музей или храм. Никаких школ, вместо этого — курсы забывания и разучения, где будут поощряться невнимание и беспамятность. Один вид книги — серьезной или легкомысленной, не важно — будет вызывать отвращение, которое распространится на Знание вообще, о нем будут говорить с опаской и замешательством, как о чем-то непристойном или прискорбном. Соваться в философию, выстраивать систему, отстаивать ее, верить в нее будет считаться кощунством, дерзостью и изменой, преступным сговором с прошлым. Ненавистными станут любые орудия труда, никто не прикоснется к ним, разве лишь для того, чтобы вымести обломки рухнувшего мира. Образцом для подражания станут растения, их предпочтут животным, которым поставят в упрек некоторое сходство во внешности и в поведении с человеком; по той же причине не будут воскрешать богов и тем более идолов. Историю отринут самым решительным образом, она будет предана проклятию вся целиком, безжалостно

и бесповоротно. Та же участь постигнет время, его объявят досадным недоразумением или отклонением.

Отойдя от бредовой мании деяний, оставшиеся в живых обратятся к однообразию, постараются найти в нем вкус и погрузиться в него, дабы избежать искушения новизной. Каждое утро, сосредоточенные и скромные, они будут предавать анафеме предшествующие поколения, но всякая неприязнь, недоверие, злорадство, всякое желание затмить или унизить совершенно исчезнут из отношений друг с другом. Они будут свободны и равны, но выше себя поставят того, кто ни внешне, ни внутренне не сохранит ни одного порока исчезнувшего рода людского. Его станут почитать, ему станут подражать.

Но оставим эти измышления — ни к чему сочинять «утешительный сценарий», предоставим это нудное занятие любителям эсхатологии. Дело не в том, что мы не имеем права представлять себе будущее, претворенное в горниле бедствий человечество, но где гарантия того, что, достигнув цели, оно не впадет в пороки прежнего? Как поверить, что оно не пресытится счастьем и устоит перед притягательной силой падения, перед соблазном сыграть роль? Скука в раю когда-то

пробудила в нашем общем прародителе тягу к бездне, которая стоила нам этой длинной, ныне подходящей к концу череды веков. Эта тяга, эта тоска по аду неминуемо поразит наших потомков и сделает из них достойных наследников наших извращений. Так откажемся же от пророчеств и буйных фантазий, не дадим заморочить себя образом далекого, расплывчатого будущего и удовольствуемся тем, что нам доподлинно известно и неотвратимо грозит.

Попытки забытья

I

«Обучите почтового голубя географии, и безотчетный полет, ведущий прямо к цели, станет для него невозможен» (Карл Густав Карус[17]).

Переходя на другой язык, писатель оказывается в положении такого голубя — ученого и беспомощного.

Упрощать в расчете на читателей — задача ложная. Благодарности вы не дождетесь. Понятное их отталкивает, они любят топтаться на месте, вязнуть, любят *мучиться.* Отсюда престиж путаников, отсюда бессмертие пустозвонства.

Блуа[18] говорит о «скрытой посредственности» Паскаля. Формула кажется мне кощунством, да она такая и есть, хотя Паскаль, не зная меры ни в чем, перебарщивает и по части здравомыслия.

---

[17] Примечания: 17

Карус Карл Густав (1789–1869) — немецкий естествоиспытатель, художник, мыслитель романтического направления.

[18] Примечания: 18

Блуа Леон (1846–1917) — французский писатель, католический мистик и еретик.

Философы пишут для профессоров, думающие — для писателей.

The Anatomy of Melancholy[19] — лучше заглавия не придумаешь. И какая разница, что сама книга неудобоварима!

Может быть, публиковать стоит лишь первый набросок — пока ты еще не знаешь, чем все кончится.

Только незавершенные — а значит, незавершимые — вещи заставляют задумываться о сути искусства.

Что мне прибавит вера, если я и сейчас понимаю Майстера Экхарта так, словно уже верую?

То, что непереводимо на язык мистики, даже и переживать не стоит.

Приблизиться к тому изначальному Единству, о котором в «Ригведе» сказано, что оно «вдыхает себя, не делая вдоха».

Разговор с фитюлькой. Три часа превратились бы в сущую пытку, не повторяй я себе то и дело,

---

[19] Примечания: 19

«Анатомия меланхолии» *(англ.)* — название книги эссе и заметок (1621) английского барочного писателя-эрудита Роберта Бёртона (1577–1640).

что вовсе не теряю время попусту и что у меня, как бы там ни было, есть возможность лицезреть образчик того, чем через несколько поколений станет человечество…

Я не знал ни одного человека, которого бы так притягивал распад. И тем не менее она покончила с собой, чтобы его избежать.

Л. хочет знать, есть ли у меня линия самоубийства. Я прячу руки, а чтобы их нечаянно не показать, теперь всегда буду при нем в перчатках.

Книга должна бередить раны, даже причинять их. Долг книги — быть *опасной.*

Степенный разговор двух старух на рынке. На прощанье одна, подавшаяся сильнее, говорит другой: «Чтоб не выходить из себя, надо держаться на уровне».

Ровно этому, с поправкой на язык, и учил Эпиктет[20].

К. рассказал о своей лондонской поездке, где битый месяц пролежал в гостиничном номере

---

[20] Примечания: 20

Эпиктет (ок. 50 — ок. 130) — римский философ греческого происхождения, представитель школы стоиков.

лицом к стенке. Это было для него самым большим счастьем, какого он только мог пожелать. Я напомнил ему похожий опыт Бодхидхармы[21], разносчика буддизма, только у него он длился девять лет…

Завидуя подвигу К., который он сам не ценит ни в грош, я добавил, что даже будь это его единственным достижением, то и тогда оно должно было поднять его в собственных глазах и помочь выносить те припадки прострации, с которыми он не знает, как справиться.

Париж просыпается. Ноябрьское, еще темное утро: на улице Обсерватории пробует распеться какая-то птица, одна-единственная. Останавливаюсь послушать. Вдруг рядом заворчали. Где — непонятно. Наконец замечаю двух бродяг, дрыхнущих под грузовиком: должно быть, одному из них что-то приснилось. Очарования как не бывало. Бежать! В писсуаре у площади Сен-Сюльпис натыкаюсь на полуголую старушонку… Вскрикиваю от ужаса и бросаюсь в церковь, где горбатый священник, злобно посверкивая глаза-

[21] Примечания: 21

Бодхидхарма (?–528) — монах-буддист, полулегендарный основатель секты чань в Китае, куда он, по преданию, переселился в 520 г. из Южной Индии.

ми, растолковывает полутора десятку бедняг всех возрастов, что конец мира неминуем и возмездие будет ужасным.

Блаженны те, кто родился до появления Науки: им посчастливилось умереть, не ведая о своих болезнях!

Обогатить инвентарь ума вздохом сожаления.

Всегдашняя разбитость, взвинченность, обостренный интерес к физиологии давно научили меня презирать любые абстракции. И пусть я за столько лет не продвинулся решительно ни в чем, но уж что такое тело, знаю досконально.

Мой старый знакомый, бродяга или, если угодно, бродячий музыкант, на какое-то время вернувшийся к родителям в Арденны, из-за пустяка резко поспорил с матерью, вышедшей на пенсию местной учительницей, которая собиралась к обедне. Тогда, выйдя из себя, внезапно побелев и утратив дар речи, она вдруг швыряет на пол шляпу, срывает пальто, жакет, юбку, белье, чулки и нагишом пускается в непристойную пляску перед мужем и сыном, прижавшимися к стене, ошарашенными и застывшими на месте, неспособными ни движением, ни словом остано-

вить ее. Закончив представление, она рухнула в кресло и разрыдалась.

На стене — гравюра, сцена повешения «арманьяков»[22]: в глазах у приговоренных издевка, ликование, восторг. Кажется, даже мысль о том, что мучения могут кончиться, для них невыносима…

На зрелище этого несказанного, вызывающего счастья невозможно насмотреться.

Дружба исключает правду. Единственное, что приносит пользу, — это мысленный разговор с врагами.

Кажется, нашим близким стоило бы позаботиться о том, чтобы умереть раньше, чем мы выйдем из состояния спасительной расслабленности. Иначе внимание к их беде требует таких усилий!

«И последние станут первыми». На лекции

---

[22] Примечания: 22

«Арманьяки» — участники политической группировки, боровшейся за власть во Франции в начале XV в., сторонники герцога Орлеанского. Их противники — «бургиньоны», приверженцы герцога Бургундского.

Пюэша[23] о гностическом Евангелии от Фомы в Коллеж-де-Франс 30 января 1958 года эти слова, раздавшиеся вдруг посреди ученого комментария, вызвали у меня странное чувство. Кажется, услышь я их в минуту агонии, они бы меня так не перевернули.

Один испанский поэт прислал мне поздравительную открытку с изображением крысы — символа, по его словам, всего, чего можно ждать от нового года. Любого, мог бы он добавить.

Безумец, взявшийся за литературный труд — не важно какой, — в глубине души не переносит ни малейшей критики в свой адрес. Сомнения слишком подтачивают его изнутри, чтобы он еще противостоял тем, которые приходят извне.

Кто-то из древних назвал учение Эпикура «сладким, как пенье сирен»[24].

Напрасный труд искать сегодня теорию, кото-

---

[23] Примечания: 23

Пюэш Анри-Шарль (1902–1986) — французский историк раннего христианства, публикатор и исследователь гностических текстов.

[24] Примечания: 24

Это сделал Диоген Лаэртский в своем жизнеописании Эпикура («О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», X, 9).

рая заслуживала бы подобной похвалы.

Читая Геродота, кажется, слышишь, как говорит и «рассуждает» крестьянин откуда-нибудь с Востока (не зря же он в своих путешествиях добрался до Скифии).

Визит молодого человека, рекомендованного одной дамой, которая подчеркнула, что речь явно идет о «гении». Подробно рассказав о недавнем путешествии в Африку, он заговорил о своих занятиях, чтении, планах. Во всем разговоре было что-то не то, какая-то необъяснимая взвинченность, от которой мне стало не по себе. Я не мог понять, кто он и чего стоит. Спустя час он поднялся, я тоже. Он посмотрел на меня остановившимся взглядом, затем, сосредоточенный и отсутствующий одновременно, медленно, очень медленно, как загипнотизированная улитка, двинулся в мою сторону. Помню, я сказал про себя: «Ба, да этот гений собирается меня прикончить» — и немного отступил, твердо решив заехать ему по физиономии, если он сделает еще шаг. Он замер, дернулся, словно делая над собой усилие и, как доктор Хайд, сопротивляясь какому-то чудовищному превращению, потом овладел собой, вернулся, сел и принужденно рассмеялся.

Я ни о чем не спросил его, чтобы не встревожить. Разговор возобновился ровно с того места, на котором мы его прервали, и по мере того, как он приходил в себя, я чувствовал, что *его* состояние захлестывает теперь меня и на этот раз мой черед вставать. К счастью, в эту минуту он откланялся.

Эти мои речевые изъяны, запинки, сбивчивость, *искусство* бубнить, мой голос, эти «р», вывезенные с другого конца Европы, — вот что, по контрасту, заставляет меня так или иначе заботиться о том, как я пишу, и быть хоть в какой-то мере достойным языка, который я всякий раз уродую, едва открываю рот.

Среди несчастий (старость, болезнь и проч.), оправдывающих тягу человека к освобождению, Будда называет «страх перед зрителями»! Уж если говорить о страхе, то начать и кончить стоило бы страхом перед жизнью. Жизнью как таковой.

Восьмидесятилетний старик под строгим секретом признался, что недавно его впервые потянуло покончить с собой. Из-за чего столько таинственности? Стыдно, что так долго дожидался и лишь теперь испытывает это вполне естественное желание, или страшно того, что, должно быть, кажется ему чудовищным?

Как жалко, что Паскаль не счел нужным задуматься о самоубийстве. Ведь эта тема — для него. Понятно, он был бы *против,* но с какими многозначительными оговорками!

«Вкус к необычному — признак мелкой души» (Дидро).

…И кто-то еще удивляется, что век Просвещения ничего не понял в Шекспире.

Пишут не тогда, когда есть что сказать, а когда *не терпится* сказать хоть что-нибудь.

Если и стоило бы прыснуть со смеху, так это в миг, когда, согнанный с постели непереносимой ночной болью, не знаешь, переписать ли завещание или отделаться жалким афоризмом.

Что такое страдание? Чувство, которое не хочет рассеяться. *Честолюбивое* чувство.

Жить — уже плагиат.

Согласно каббале, как только ребенка зачинают, на груди его матери появляется светящийся знак, который при рождении ребенка гаснет…

Я не хотел бы жить в мире, где нет никаких религиозных чувств. Речь не о вере, а о внутреннем трепете, который, независимо от того, верующий

ты или нет, переносишь на Бога или даже *выше.*

«Никому не под силу освободиться от Времени».

Об этом знаешь. Но, прочитав в «Махабхарате», узнаёшь окончательно.

Если рассказ о грехопадении потрясает, то потому, что автор тут не описывает ни аллегории, ни символы: он *видит* вот этого Бога, который прохаживается себе по саду, *сельское* божество, каким его совершенно справедливо назвал кто-то из толкователей.

«Думая о том, что Христа распяли, я всякий раз впадаю в грех зависти».

За такие высказывания я и люблю Симону Вайль[25]: гордыней она не уступит в них величайшим святым.

Неверно, будто человек не может прожить без божества. Сначала он создает себе подобия богов, а потом терпит всё и ко всему привыкает. Он недостаточно благороден, чтобы погибнуть от разочарования.

---

[25] Примечания: 25

Вайль Симона (1909–1943) — французский мыслитель-мистик. Сборники записей разных лет «Бремя и благодать» (опубл. 1947), «В ожидании Бога» (опубл. 1964) стали событием для интеллектуалов Запада.

Ночью во сне расхваливал того, кого наяву презираю. Проснулся с таким отвращением к себе, как будто и вправду опустился до подобной подлости.

Чувство, что я в ударе, на своем месте и делаю что-то стоящее, бывает у меня только в одном случае: когда я растягиваюсь на диване, предаваясь бесконечным и бессмысленным вопросам к самому себе.

Бесплодие делает мысль ясной и безжалостной. Переставая сочинять, видишь бескрылость и бессодержательность всего, что делают прочие. Оценка верная. Осталось только перенести ее на все предыдущее — все, что ты сочинил и сделал в точности по образцу прочих.

Истинная моральная утонченность заключается в искусстве превращать свои победы в поражения.

О, эти незадачливые кошмары — кошмары, которые тянутся, длятся и не разрешаются никакими катастрофами. Проснуться от невыносимой скуки!

Смерть — состояние совершенства, единственного, которое доступно смертному.

Во времена, когда я курил не переставая, у сигареты после бессонной ночи был такой могильный привкус, что это утешало за всё.

В пригородном поезде девочка лет пяти читает какую-то книгу с картинками. Наталкивается на слово «переход» и спрашивает у матери, что оно значит. Та отвечает: «Переход — это когда поезд идет из одного места в другое, или когда человек переходит через улицу, или когда ветер сильно дует и переходит в бурю…» Девочку — а лицо у нее очень живое — ответ явно не устраивает. Видимо, примеры кажутся ей слишком *конкретными.*

Утром рассуждали за столом «на богословские темы». Служанка, неграмотная, из крестьян, слушала стоя. И вдруг говорит: «А я верю в Бога, только когда у меня зубы болят». Умирать буду — вспомню эти ее слова.

Любая уступка сопровождается чувством самоумаления, которое осознаёшь только позднее.

В ответ на слова друга, признавшегося, что скучает, поскольку не может работать, я говорю, что скука — *высшее* из состояний человека и не надо ее принижать, связывая с мыслью о работе.

Жизнь — колоссальное событие, *не имеющее*

ни малейшего смысла. Вот как бы я определил ту озадаченность, которая не оставляет меня изо дня в день.

По-вашему, я изменяю себе, утверждая, будто у меня прибавляется сил только в одном случае — когда я сомневаюсь.

Но я не скептик, я идолопоклонник скепсиса, скептик на точке кипения, скептик в состоянии экстаза, фанатик без веры, герой замешательства.

Предпринятое Эдипом расследование, этот порыв без обиняков, иначе говоря безо всяких угрызений совести, доискаться до истины, это саморазрушительное упорство напоминает ход и механизм Познания, деятельности, абсолютно несовместимой с инстинктом самосохранения.

Убежденность в чем бы то ни было — неимоверное достижение, почти чудо.

В конечном счете Ницше грешит необузданностью письма, не дающего перевести дух, отсутствием *передышек.*

По-настоящему действуют, по-настоящему заражают только те слова, которые продиктованы

озарением или бешенством — состояниями, когда ты *не в себе.*

Христос, говорят нам, не был *мудрецом,* иначе не произнес бы во время Тайной вечери: «Делайте так в память обо мне». Мудрец никогда не говорит от своего имени: он выше личного.

Допустим. Только ведь Христос и не претендовал на подобную роль. Его принимали за бога, а это заставляло прибегать к особому языку, в данном случае к языку личному.

Крутишься, бьешься, жертвуешь чем-то, по видимости — ради себя, на деле — ради неведомо кого, какого-то будущего недруга, недруга, которого даже не знаешь. И народам это присуще не меньше, чем людям. Гераклит был не прав: не огонь, а ирония правит миром. Она — закон вселенной.

Даже когда ничего не происходит, это выше моих сил. А уж что говорить о событии, любом событии?

Верх безумия — верить, будто у нас под ногами надежная опора. С самого своего начала человеческая история убеждает в обратном. Казалось, мы двигались, ступая на твердую почву, и вдруг об-

наруживаем, что ничего похожего на почву нет, а главное — нет ничего похожего на движение.

В зоопарке. Все животные ведут себя пристойно, кроме обезьян. Чувствуется, что это уже без пяти минут люди.

Из «Дневника» Данжо[26]: «Герцогиня д'Аркур просила и получила имущество некоего Фуко, недавно покончившего с собой». «Сегодня король пожаловал супруге дофина некоего самоубийцу. Она надеется извлечь из этого немалую прибыль».

Помнить об этом, когда кто-то пытается обелить аристократию и не допускает мысли о гильотине.

К истине через мнения не прийти: любое мнение по-своему *безумно.*

По индусской легенде, Шива однажды пустится в пляс, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее и не остановится, пока не закружит мир в исступленном ритме, совершенно не похожем

---

[26] Примечания: 26

Данжо Филипп де Курсийон, маркиз де (1638–1720) — французский придворный, фаворит Людовика XIV, воспитатель дофина (с 1680), государственный советник, член Французской академии. Автор «Дневника» (14 т., 1711–1713), в раздражении от которого принялся за свои «Мемуары» Сен-Симон.

на ритм Творения.

Комментария к этой легенде нет: ее взялась иллюстрировать сама история.

Пока готовят цикуту, Сократ учится играть на флейте. «Зачем тебе это?» — спрашивают его. «Чтобы научиться, прежде чем умру».

Если я решаюсь напомнить эти опошленные учебниками слова, то лишь потому, что в них для меня единственное серьезное оправдание воли к познанию — воли, не оставляющей человека даже на пороге смерти, как и в любой другой миг.

По Оригену, только души, склонные к злу, души «с подломленными крыльями» облекаются в плоть.

Иными словами, без погибельной страсти нет ни человека, ни истории. Эту ужасающую истину было бы невозможно перенести, не будь она скрадена мало-мальским богословским гарниром.

Подлинный Мессия, учат нас, придет в мир либо «полностью праведный», либо «целиком греховный». Поскольку всерьез стоит принимать лишь второй вариант, до того он очевиден и до такой степени соответствует всему, что мы *знаем* о будущем, Мессия имеет сейчас все шансы

прийти — и не столько наши древние надежды, сколько наши древние страхи наконец сбудутся.

Я не раз убеждался, что после кошмара, в котором тебя убивают, засыпаешь гораздо быстрее, чем после того, где убиваешь ты.

Убийце на заметку.

В храме Сен-Северен итальянский хор исполняет «Жалобы Иеремии» Кавальери[27]. В самом волнующем месте я вдруг говорю себе, что при первом же случае посчитаюсь с NN. И так всегда: в самые «эфирные» минуты на меня вдруг нападает желание немедленно отомстить, и притом не за свежую обиду, а за ту, которой уже лет десять, двадцать, тридцать.

Нет человека, которому бы я в тот или иной миг не пожелал смерти.

Д., при всем своем слабоумии неплохой психолог, любил повторять найденное. Так, он при каждой встрече сообщал мне, что приступами бешенства я напоминаю ему короля Лира, угрозы которого тут же принимался цитировать: «Я так вам отомщу… Еще не знаю сам, чем ото-

---

[27] Примечания: 27
Кавальери Эмилио де (ок. 1550–1602) — итальянский композитор.

мщу, но это будет нечто ужаснее всего, что видел свет»[28].

И старикашка заходился смехом, как ребенок.

Как говорит один хасидский текст, тот, кто не находит истинного пути или сознательно его покидает, остается жить из «дьявольской гордыни».

Вот и делай вид, что это не про тебя!

«Вечность»: спрашиваешь себя, как ты сумел выговорить это слово столько раз, не сойдя с ума.

«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Господом».

Малых и великих — невольная юмористическая деталь. Даже в Апокалипсисе важны мелочи (да что я говорю?), они в нем прежде всего и привлекают.

Какой это позор — смерть! Вдруг превратиться во *что-то*…

Ненавидеть человека — значит желать, чтобы он был кем угодно, только не собой. Т. пишет, что

---

[28] Примечания: 28
«Король Лир» (II, 4) — перевод Б. Пастернака.

любит меня, как никого на свете… и в то же время умоляет освободиться от навязчивых мыслей, избрать другой путь, переделать себя, разорвать всякую связь с собой прежним. Иными словами, перечеркивает само мое *существование.*

Отрешенность, безмятежность — смутные, почти пустые слова, если бы не те минуты, когда мы улыбаемся каждому, кто нас уверяет, что обозначаемое этими словами продлится не дольше мига.

Изо всего, что принято относить к «душе», ничто так тесно не связано с физиологией, как хандра. Она забирается в ткани, в кровь, в кости, в любой орган, какой ни возьми. Дай ей волю, она разъест даже ногти.

По соображениям терапии вкладывал в свои книги самое худшее из того, что носил в себе: отбросы мысли, отстой ума.

«Музыкальное приношение», «Искусство фуги», «Гольдберг-вариации» — в музыке, как и в философии, как во всем прочем, я люблю только то, что своей настойчивостью, повторяемостью, бесконечным возвратом причиняет боль, добираясь до последних глубин живого и вызывая этим

наслаждение, уже почти нестерпимое.

Какая жалость, что «небытие» вконец испошлено злоупотреблением философов, недостойных даже произносить это слово!

Монополизировав разочарованность, приходится делать над собой усилие, чтобы признать право на разочарование за кем-то еще.

Нет, решительно ничто не делает человека скромнее. Даже вид трупа.

Любая смелость — следствие неуравновешенности. Звери — а они по определению сама норма — всегда трусы, за исключением случаев, когда *знают,* что они сильнее, а это трусость вдвойне.

Если бы все шло к лучшему, старики, взбешенные тем, что не смогут этим воспользоваться, лопнули бы с досады. К счастью, курс, с самого начала взятый историей, примиряет их с жизнью и дает возможность околевать без малейшей зависти к остающимся.

Всякий, кто изъясняется языком утопии, от меня дальше, чем рептилии другой палеонтологической эпохи.

Невозможно быть довольным собой — разве

только вспоминая редкие минуты, когда ты, по японскому выражению, улавливал «ах!» вещей.

Иллюзия — вот что рождает и поддерживает наш мир: разрушить ее — он тоже рухнет. Этому я и предаюсь каждый день. Занятие, по видимости, безрезультатное, поскольку наутро приходится все начинать сначала.

Время подтачивает себя изнутри — точно так же как организм, как всё, что затронуто жизнью. Сказавший «время» говорит «изъян», и какой изъян!

Я понял, что старею, когда впервые почувствовал: слово «разрушение» потеряло силу и уже не пробуждает во мне прежнюю дрожь победы и полноты, близкую к мольбе, истребительной мольбе…

Едва закончив серию размышлений, одно другого мрачнее, я был опять захвачен болезненной любовью к жизни — карой или наградой тех, кто обречен на вечное отрицание.

II

Дошел до того, что могу восхищаться лишь одним разрядом людей: опозоренными и счастли-

выми. Но вот прочитал, что Эпиктет шагнул еще дальше: «умирающими и счастливыми», — сказано у него. Впрочем, может быть, найти радость в агонии проще, чем в бесчестье.

Идеей Вечного Возвращения может по-настоящему проникнуться только тот, кто награжден хроническими, а стало быть, периодически обостряющимися недугами и пользуется своим преимуществом, переходя от рецидива к рецидиву со всеми последствиями для философской мысли.

У человека, достойного этого имени, не бывает родины. Она к нему не липнет.

Лавка медицинской книги. В витрине, на переднем плане, скелет. Я просто плюнул от отвращения. А потом подумал, что мог бы проявить чуть больше признательности, ведь я же столько раз восхвалял эти сардонические кости, сама мысль о которых, если не прямо их образ, милосердно поддерживала меня в разных обстоятельствах[29].

---

[29] Примечания: 29

Среди прочего Чорану принадлежит эссе «Палеонтология» (вошло в его книгу «Неумелый создатель», 1969); сам автор называл его «гимном скелету».

Стоит выйти на улицу, увидеть людей, и в голову тут же приходит слово «истребление».

Послать кому-то свою книгу — все равно что совершить кражу со взломом, вторгнуться в частную квартиру. Это значит посягнуть на его уединение, его святая святых, заставить человека отречься от себя, чтобы думать вашими мыслями.

На похоронах К. я подумал: «Вот наконец человек, который не нажил себе ни единого врага». Он не был посредственностью, но, кажется, даже не подозревал о *радости уязвить.*

Х. совершенно потерял голову. Происходящее выбивает его из себя. Эта паника для меня лучшее лекарство: вынужденный его успокаивать, пытаясь переубедить, подыскивая умиротворяющие доводы, я и сам успокаиваюсь. Хочешь справиться со своим сумасшествием — навещай тех, кто еще безумнее.

Тяжелые, недоброжелательные взгляды со всех сторон. Страшно даже представить эти глаза во время бунта.

Слово «ближний» в больших городах бессмысленно. Где оно на месте, это в сельских цивили-

зациях: там каждый знает каждого и все могут по-соседски любить и ненавидеть друг друга.

Тантристский обряд: по ходу посвящения неофиту подносят зеркало, в котором он отражается. Видя собственное отражение, он понимает, что он — всего лишь вот это, иначе говоря — ничто.

И к чему столько ужимок, когда убедиться в своем пигмействе так просто?

Плотин[30] пережил озарение четыре раза, Рамана Махарши[31] — однажды. Но разве дело в количестве!

Если кого-нибудь и стоит жалеть, так это тех, кто никогда даже близко к нему не подступал и судит о нем только по слухам.

Этот подслеповатый человечишка нескольких дней от роду, который, неведомо чего ища, вертит во все стороны головой, безволосым, помладенчески плешивым черепом, эта ничтожная макака, которая несколько месяцев пролежала

---

[30] Примечания: 30

Плотин (ок. 205–270) — греческий философ.

[31] Примечания: 31

Махарши Рамана (собственно Венкатраман Айер, 1879–1950) — индусский гуру, в 16-летнем возрасте пережил видение собственной смерти, после чего полностью удалился от мира, практически ничего не писал и наставлял лишь устно.

в отхожем месте, скоро, позабыв о собственном происхождении, будет свысока поплевывать на весь мир…

Как можно заметить, едва ли не каждому из философов необходимо *верить* в то, о чем он говорит, отчасти даже отождествляться со своим предметом. Подобная потребность, в принципе — недопустимая, на самом деле истинное благо: только благодаря ей они в силах мыслить, не вызывая у себя отвращения…

Существуй общепринятый, иначе говоря официальный, способ кончать с собой, самоубийства были бы намного проще и случались бы намного чаще. Но поскольку каждому, кто думает наложить на себя руки, приходится искать собственный путь, он упускает подходящий момент, обдумывая пустяки и позабыв о главном.

Несколько минут пытаюсь сосредоточиться на *ходе* времени, приковав все мысли к появлению и исчезновению каждого мига. На самом деле сознание отмечает не отдельный миг (его не существует), а лишь сам факт ухода, бесконечный распад настоящего. Если растянуть этот опыт на весь день, кажется, распадется и сам мозг.

Быть — значит быть в ловушке.

В ненормальных семьях рано или поздно появляется отпрыск, который посвящает себя истине и гибнет, ее ища.

Что меня поражает почти у всех философов, которых я более или менее знаю, — это неспособность судить. Их дело — всегда сторона. Замечательное неумение быть справедливым. Склонность к абстракции губит мысль.

За последние лет сорок не было ни дня, когда бы я не испытывал что-то вроде *скрытого эпилептического припадка.* Это позволяет мне оставаться в форме и сохранять видимость.

…Видимость чего?

Люди, в любых обстоятельствах сохраняющие объективность, кажется, вышли за рамки нормального.

Что в них надломилось, что извращено? Узнать не удается, но догадываешься о какой-то глубокой травме, какой-то аномалии. Беспристрастность несовместима с волей к самоутверждению, да просто к существованию. Готовность признать чужие достоинства — тревожный симптом, преступление против естества.

«Ни этот мир, ни иной, ни радость человека — ничто не устоит перед сомнением».

В этой цитате из «Бхагавадгиты» — мой смертный приговор.

Я пытаюсь победить свое неравнодушие к ней, представляю себе ее глаза, щеки, нос, губы, охваченные разложением. Бесполезно: необъяснимое словами чувство остается прежним. Вот в такие минуты и понимаешь, как это жизни, вопреки Знанию, удается идти дальше.

Единожды поняв что бы то ни было, стоило бы в ту же секунду сдохнуть. Ведь что такое «понять»? Постигнутое по-настоящему невозможно ни выразить, ни передать никому, даже себе, поэтому и умираешь, не догадываясь, что в тебе на самом деле таилось.

Биться только над теми вещами, над которыми продолжал бы ломать голову даже в могиле.

По-настоящему меня всегда увлекали только проигранные схватки, только люди без будущего, все мании которых я принимал до того близко к сердцу, что переживал их почти как они сами. Если обречен мучиться, собственных мучений, даже самых тяжелых, уже мало, набрасываешь-

ся на чужие, присваиваешь их, становишься вдвойне, втройне — да что там! — во сто раз несчастнее.

Воспринимать «постоянное» только в отрицательном смысле, как несущее ущерб, противоречащее бытию. Постоянная угроза, постоянная неосуществленность, долгожданное и развеявшееся озарение, предвосхищаемая и лишь в редких случаях достижимая вершина. А иногда: как то, что преодолеваешь, от чего отрываешься, — так, бывает, уходят от Бога…

На опушке — подстреленный голубь. Видно, задело шальной пулей. Может только прыгать. Смешные движения, *которые, кажется, забавляют его самого,* придают этой агонии что-то комичное. Я было думал его подобрать, поскольку стояли холода и уже смеркалось. Но не знал, на кого оставить: во всей этой угрюмой, запертой на ночь Босе его бы никто не взял. И все-таки я попытался разжалобить начальника маленькой станции, где садился на поезд. Там я и оставил беднягу предаваться *радостям* умирания.

Всю жизнь мучишься неотвязными болезнями и никого не в силах убедить в их реальности. Однако, подумав, понимаешь, что в этом есть своя

справедливость: роль компанейского говоруна и вечного заводилы даром не дается. Кому же придет в голову, что бывают *веселые* страдальцы?

Пресыщенность не только тем, чего желал, но и тем, чего еще только *мог бы* пожелать! Желанием как таковым.

Первостатейные святые не любят совершать чудеса и делают это поневоле, как будто их *кто-то* принуждает. Скорее всего, они опасаются впасть в грех гордыни, поддаться соблазну титанизма, желанию сравняться с Богом, присвоить себе Его полномочия.

Иногда, собрав волю в одно, и в самом деле сознаешь, что мог бы *преодолеть* законы природы. Но после подобных минут чувствуешь себя измочаленным, растратившим внутреннюю энергию, без которой не попрать и не преступить закон. Если одна только мысль о чуде так выматывает, то что же говорить про само чудо?

Всякий раз, когда наталкиваешься на что-то ощутимое, реальное, получившееся, хочется бить во все колокола, как при большой победе или большой беде.

Посреди ярмарки испытывать одиночество,

которому позавидовали бы отцы-пустынники.

Я не стал бы скрывать истину, даже если из-за нее от меня отвернулись бы все на свете. Но единственное, чем я владею, — это мои переживания, а не слова, которые могли бы ее передать.

Вы рискнули сказать, что испытываете ко Времени «чувства брата», взяли в попутчики худшего из палачей. Тут мы расходимся: вы шагаете с ним в ногу, я иду впереди или плетусь сзади, но никогда не перенимаю его ухваток и лишь *мысленно сокрушаюсь* по поводу видимого.

По словам гностического «Апокалипсиса Иоанна»[32], называть Всевышнего «бесконечным» — значит оставаться еще вдали от него, поскольку Он, как там сказано, «много избраннее».

Стоило бы знать по имени этого автора, который так замечательно понял не соизмеримую ни с чем единичность Бога.

Как жаль, что нельзя добиться успехов в скромности! Я предавался этому занятию с немалым рвением, но достигал известного результата, только когда чувствовал себя совершенно без

[32] Примечания: 32

Имеется в виду анонимный Апокриф Иоанна из собрания Наг-Хаммади (II. 1).

сил. Усталость проходила, и все жертвы оказывались впустую. Скромности следовало бы стать чуть менее естественной, иначе погоня за ней слишком изматывает.

Потерпевший кораблекрушение, который, очутившись на острове и увидев там прежде всего виселицу, не приходит в ужас, а, напротив, успокаивается. Да, он попал к дикарям, но у них царит порядок.

Больше, чем следовало бы, думаю о чувствах язычников после обращения Константина. В этом вся моя жизнь: постоянный ужас перед догмами, особенно — перед новорожденными.

Состарившиеся догмы меня, напротив, привлекают, поскольку утратили воинственный пыл. Но, понимая их обреченность, я не могу отделаться от мысли, что их нынешний упадок готовит приход того миропорядка, которого я не выношу. Так что внушаемые ими симпатии начинают мало-помалу укреплять во мне прежний страх…

Успех, почести и прочая белиберда извинительны только в одном случае: если пользующийся ими *твердо знает,* что все это кончится ничем. И принимает их лишь потому, что ждет момента, когда *насладится* своим крахом сполна.

«Даже в холодном мраморе статуй я не чувствовал такой безучастности», — пишет Баррас[33] о Робеспьере. И спрашиваешь себя: а может быть, невозмутимость такого самодовольного негодяя, как Талейран это утонченнейшая копия повадок и манер Неподкупного?

Создать семью. Да по мне, проще основать империю.

Настоящий писатель пишет о людях, вещах и событиях, он не пишет о письме. Он пользуется словами, но не застревает на словах, не принимается их бесконечно пережевывать. Он — всё что угодно, только не анатом Слова. Препарировать язык — конек тех, кому нечего сказать и у кого нет ничего, кроме слов.

В некоторых странах Азии, например в Лаосе, после тяжелой болезни принято менять имя. Какое понимание вещей! И правда, стоило бы менять имя всякий раз, когда пережил что-то важное.

---

[33] Примечания: 33

Баррас Поль, виконт де (1755–1829) — французский военный и политический деятель, блестящий офицер и выдающийся карьерист, организатор заговора против Робеспьера, затем — один из пяти директоров при Директории, а еще позднее — деятельный помощник Наполеона Бонапарта.

«Только опавший цветок достоин этого имени», — сказал один японец.

То же самое хочется сказать о цивилизации.

В основе общества, любого общества — своего рода *гордыня повиновения.* Нет этой гордыни — и общество разваливается.

За моей тягой к истории — нюх на старье и страсть ко всему *конченому.*

Так вы что же, реакционер? — Если угодно. Но только в одном смысле: как Господь Бог.

Ты — раб и останешься рабом, пока не излечишься от надежды.

По-настоящему меня ободряет только возможность сказать себе: из моей жизни, как я и хотел, ровным счетом ничего не вышло.

Более чем за тридцать лет священства мой отец соборовал тысячи и тысячи умирающих. Как и у его «приятеля»-могильщика, у него не было никакого особого отношения к смерти. Я имею в виду не отношение к «трупу», а чувство той близости, предельной из всех возможных, которое, уж если ему так предназначено, человек испытывал бы даже в мире, населенном одними

бессмертными.

Эти минуты, когда чувствуешь себя так, словно за спиной нет ничего, когда нечего ждать, поскольку времени тоже нет, и когда в самой глубине сознания, похолодев от ужаса, ищешь хотя бы малейший признак жизни, дающий понять, что, может быть, еще не все потеряно.

Эта девяностолетняя старуха ничем не больна, она просто умирает, умирает, потому что устала жить… Войдя, я застал ее еще в сознании. У нее хватило сил шепнуть: «Вот и все, вот и все». — «Ну и ладно! Стоит ли так расстраиваться», — отозвался я. Она ответила смутной улыбкой, в которой мне почудилось презрение. Должно быть, я показался ей то ли слишком наивным, то ли слишком циничным, то ли тем и другим сразу.

Видя, как кто-то бросается в бой — ради чего, не важно, — я пытаюсь понять, что с ним и куда он мог подевать свой рассудок. Может быть, отказ примиряться — это и признак «жизненной силы», но уж никак не свидетельство проницательного ума и даже простой сообразительности. Здравомыслящий человек не опустится до протеста. Самое большее выразит недовольство. Принимать человеческие дела всерьез — значит носить

в себе какой-то тайный изъян.

Антрополог, изучавший пигмеев, был озадачен тем, что соседние племена его презирали и старались держаться от него в стороне: он ведь общался с нелюдью — в их глазах пигмеи были ничтожествами, «собаками», недостойными самомалейшего интереса.

Здоровый, непритупленный инстинкт всегда разборчив. Сообщество сплачивается жестокостью, беспощадностью к чужим… Тут «дикарям» нет равных. Это не они, а «цивилизованные» люди придумали терпимость, от которой и погибнут. Почему же они ее придумали? Потому что были обречены… Не терпимость сделала их слабыми, наоборот: слабость, недостаток жизненных сил сделали их терпимыми.

Две женщины занимали мои мысли чаще других: Тереза Авильская и госпожа Бренвилье[34].

Пророками наихудшего возмущаются, даже когда признают справедливость их предчувствий и предупреждений. К тем же, кто обманулся в своих ожиданиях, людской суд куда снисходительнее:

---

[34] Примечания: 34

Бренвилье Мари Мадлен Д'Обре, маркиза де (1630–1676) — французская аристократка-отравительница.

их недальновидность приписывают энтузиазму и благородству, тогда как первых, павших жертвами собственной проницательности, считают трусами, неспособными рискнуть и поверить в иллюзии.

Так или иначе, пещерная эпоха не идеал. Другое дело — последовавшая за ней, когда после долгого заточения мысль наконец почувствовала себя *под открытым небом.*

Я не с миром борюсь, а с врагом куда сильнее — с моей *усталостью* от мира.

Что ни говори, а в старой человеческой похоти что-то есть. С тех пор как жизнь называется жизнью, в ней, надо честно признаться, мало чем стоит дорожить. Так почему же пресыщаешься любым занятием, кроме этого? Нет, самое древнее из упражнений всего живого не могло не оставить на нас свою печать. Понятно, что в каждом, кто ему со страстью не предается, видят существо особое — обсевка или святого.

Чем больше человека унижают, тем скорее он рискует, наперекор всему, впасть в самодовольство и даже в гордыню. Любая жертва тешит себя мыслью о своеобразном избранничестве

навыворот. Соответственно она и поступает, не сомневаясь, что возносится этим до уровня самого дьявола.

Стоит вернуться к Сомнению (если мы с ним вообще хоть когда-нибудь расстаемся!), и любой шаг кажется не столько бесполезным, сколько излишним. От Сомнения не отмахнешься. Оно действует изнутри, как болезнь. Или еще безотказнее — как вера.

Тацит вкладывает в уста Оттона, который решил покончить с собой, но которого солдаты уговорили отложить задуманное, следующие слова: «Ну что же, прибавим к жизни еще одну ночь».

…Остается надеяться, что его ночь не походила на ту, которую только что пережил я.

По Талмуду, с дурными мыслями человек родится, добрые возникают у него лишь в тринадцать лет… Несмотря на комическую точность, наблюдение по-своему верное: оно объясняет неисправимую робость Добра перед Злом, которое с удобствами располагается в нас и пользуется всеми преимуществами *первого.*

Мессия мог быть для евреев только царем-

победителем, но ни в коем случае не жертвой. Слишком честолюбивые, чтобы удовлетвориться Распятым, они ждали другого, *Бога Сил.* Таково было их предназначение: не заметить, что Христос тоже нес в себе силу, но особую. Иначе они растворились бы в ордах христиан и позорно исчезли с лица земли.

Недуги не дают нам оторваться от нас самих, стать другими, сменить кожу, перевоплотиться. После каждого шажка вперед они вынуждают шагнуть назад, так что мы если в чем и продвигаемся, то исключительно в сознании бессмысленной верности самим себе.

Моя задача в том, чтобы убить время, его — в том, чтобы убить меня. Двое убийц всегда поладят.

Одержимость *пределом* во всем, пределом как свойством, как основополагающей формой мысли, как врожденным дефектом, иначе говоря, как откровением…

Уже несколько месяцев на столе у меня лежит молоток — как символ чего? Не знаю, но он мне явно полезен и временами придает уверенность, вероятно известную тем, кто нашел для себя ка-

кое-то надежное укрытие.

Внезапный прилив благодарности — и не только к людям, но и к предметам, к камню за то, что он камень… Как все разом оживает! Кажется, это навеки. Мысль о *небытии* предстает вдруг непостижимой. Само то, что такие потрясения случаются, что они хотя бы возможны, говорит об одном: видимо, последнее слово все-таки не сводится к Неприятию.

Визит художника, который рассказывает, как где-то на юге он однажды вечером навещал слепого и, застав его в темной комнате, не мог удержаться от жалости и не задать вопрос, как можно жить, не видя дневного света. «Вы не подозреваете, сколько потеряли», — ответил слепой.

Эти приступы бешенства, желание лопнуть от злости, растоптать весь мир, отхлестать вселенную — как их унять? Сию же минуту отправиться на кладбище — на прогулку, а лучше *насовсем*…

Ежедневно, ежечасно (да что там!), ежеминутно срываться в пропасть, которую буддистский диалектик Чандракирти[35] называет *«ересью*

[35] Примечания: 35

Чандракирти (VII в.) — буддистский мыслитель, толкователь трудов Нагарджуны.

самопоглощенности».

У ирокезов старику, который больше не может охотиться, близкие предлагают на выбор — либо оставить его одного в пустынном месте, где он умрет от голода, либо раскроить ему череп томагавком. Заинтересованное лицо почти всегда склоняется ко второму. Важная деталь: перед всем этим семья в полном составе исполняет *«Песнь великого Избавления».*

Какое «развитое» общество сумеет проявить столько здравого смысла или, если угодно, такое чувство юмора?

Все залежи религиозности я давно исчерпал. Что это — очерствение, очищение? Сам не знаю. У меня в крови нет больше ни крупицы божественного…

Плебс, не забудем, оплакивал Нерона. Вот о чем стоило бы всякий раз напоминать тем, кто соблазняется очередной химерой.

И надо же столько лет трястись над этой грудой костей, пытаться ее подштопать, вместо того чтобы — на радость обеим сторонам — давно вышвырнуть на свалку!

Сочувствия среди всех несчастных заслуживают только те, кто ночами не может сомкнуть глаза и хотел бы взбудоражить окружающий мир, издать вопль или хотя бы крик, а их сил едва хватает на то, чтобы шептать проклятья.

Я все меньше понимаю, что такое добро и что такое зло. Когда я вообще не почувствую между ними ни малейшей разницы (если предположить, что такой день наступит) — вот это будет шаг вперед! Но куда?

Совершенно верная, по-моему, мысль каббалы о том, что у каждой части нашего тела — у мозга, глаз, ушей, рук и даже ног — есть своя отдельная душа. Эти души как бы «искры» первородного Адама… Вот это уже не очевидно.

Спускаясь по лестнице, слышу, как восьмидесятилетний, крепкий еще с виду старик сосед во все горло ревет «Miserere nobis»[36]. Через полчаса поднимаюсь назад и слышу прежнее упорное «Miserere». В первый раз я улыбнулся, во второй — вздрогнул.

Этот загробный покой, который испытываешь,

---

[36] Примечания: 36
«Помилуй нас» *(лат.).*

отрешаясь от мира. Пространство свернулось, и я вдруг почувствовал на лице странную улыбку. Откуда она? Кто дарит необыкновенное счастье, которое излучают лики мумий? Я в одно мгновение оказался *по ту сторону* и в одно мгновение должен вернуться: нельзя безнаказанно проникать в тайны мертвых.

Строго говоря, я не знал настоящей бедности. Вместо этого я всегда чувствовал если не болезнь, то *недостачу здоровья,* которая и утешала меня в том, что я еще не окончательно обнищал.

Как узнать, что ты на верном пути? Проще простого: если рядом с тобой не осталось никого, значит, ты действительно близок к сути.

Опомнись, возьми себя в руки, не забывай: никому еще не удавалось обоготворить крах и не потерпеть поражение.

Птичий рынок. Сколько силы, сколько решительности в каждом неукротимом тельце! Кажется, эта подавляющая (другого слова не подберу) мелюзга, которая одушевляет щепотку материи, рождается из этой материи и развеивается вместе с ней, — воплощение самой жизни. И все-таки не могу отделаться от чувства досады и

взять в толк эту горячку, этот безостановочный перепляс, это зрелище, этот спектакль, который дает себе жизнь. Что за беспардонная комедия!

Все эти прохожие напоминают вялых, умученных горилл, которым осточертело изображать человека.

Будь на свете хоть какой-то предустановленный порядок, каждый смертный твердо знал бы свой срок, а в положенное время бросал дела и откланивался. Но поскольку единства на сей счет нет, мы пребываем в ожидании, спорим с собой и теряем время в препирательствах и обидах.

В совершенном обществе каждому зажившемуся приказывали бы освободить помещение. И судили бы вовсе не по возрасту: столько молодых людей на самом деле ходячие трупы. Главная трудность заключалась бы в отборе тех, кто должен оповещать имярека о том, что его час настал.

Если бы мы могли *сознават*ь свои органы, *все* свои органы, мы бы достигли абсолютного опыта, абсолютного видения собственного тела, которое предстало бы сознанию с такой ясностью, что уже не сумело бы исполнять свои принудительные обязанности и само превратилось в сознание,

неспособное больше играть роль тела…

Я не перестаю проклинать судьбу, а иначе как бы я сумел ее выносить? Обвинение — единственная возможность с ней примириться и справиться. Поэтому придется и дальше осыпать ее проклятиями — из инстинкта самосохранения, по расчету, иными словами из соображений совершенно эгоистических.

Юноша и девушка, глухонемые, объясняются жестами. Какой счастливый у них вид!

Нет, решительно слова не годятся, не созданы, чтобы передавать счастье.

Чем старше человек, тем настойчивее он гонится за почестями. Может быть, суета никогда не бывает такой неугомонной, как на краю могилы. Цепляются за чушь, чтобы не видеть, что таится за ней, силятся обмануть пустоту еще большими пустяками.

Состояние здорового — бесчувственность, а стало быть, нереальность. Перестав мучиться, перестаешь существовать.

Безумие не выкорчевывает зависть, даже не унимает ее. Пример — NN, вышедший из буйной палаты еще ядовитее, чем прежде. Уж если сми-

рительная рубашка ничего не может поделать с человеческой сутью, то что говорить о лечении или возрасте? А ведь сумасшествие — потрясение посильнее старости. Но, видно, и оно не в силах нас исправить.

Казалось бы, после всего, что знаешь, ничто не должно удивлять. И тем не менее такое бывает (да что я говорю?), происходит ежедневно. Это мое слабое место. Какой, в самом деле, позор — до сих пор не пресытиться, не разочароваться!

Смерть — не слишком привлекательная штука. Вот что я говорю себе, слушая этого старика, боящегося смерти и думающего о ней всякую минуту. Чего бы он не отдал, только бы ее избежать! С комичным упорством он пытается убедить меня в том, что конца не минуешь… В его изображении смерть кажется еще неотвратимее, чем на самом деле. Не зная, вопреки возрасту, ни хлопот со здоровьем, ни материальных забот, ни человеческих привязанностей, он снова и снова переживает прежний страх, хотя мог бы, кажется, без опаски прожить оставшееся время. Так нет же, «природа» подвергает его этой пытке, наказывая за непохожесть на других.

Полнота как высшее счастье достижима лишь

в те минуты, когда до самой глубины сознаёшь нереальность всего — и жизни, и смерти. На опыте такие минуты случаются редко, хотя в мыслях к ним можно обращаться часто. В этой области существует только то, что переживается. Иными словами, такая пережитая и вместе с тем преодоленная в этом переживании нереальность — торжество, не уступающее экстазу, а порой и превосходящее экстаз.

III

Гесиод: «Боги сокрыли от смертных источники жизни». Хорошо это или плохо? Не знаю, но ясно одно: люди не решились бы жить дальше, не будь эти источники от них скрыты.

Поскольку знаешь, чего стоят слова, поразительно, что рвешься высказаться и что это, как ни странно, удается. Сверхъестественная настырность!

NN передал, что хочет меня видеть. Я с готовностью принял приглашение. Чем ближе подходил час встречи, тем настойчивее во мне оживала древняя страсть к убийству. Мораль: хочешь остаться в ладу с собой — ни на что не соглашайся.

Я делю свое время между тем, что на письме проповедую добровольный уход из жизни, а на словах от него отговариваю. В первом случае — это итог философских размышлений, во втором — живой человек, его голос, жалобы…

В своей проповеди в Бенаресе Будда среди причин страдания называет жажду быть и жажду не быть. Первое понятно, но второе? Разве погоня за небытием не сулит освобождение? Будда имеет в виду не цель, а процесс, устремленность и неспособность порвать с этой устремленностью. К несчастью, самое *интересное* на пути к освобождению — это путь. А освобождение? Его не достигаешь — в нем тонешь, задыхаешься. Нирвана всего лишь паралич. Правда, самый сладкий из возможных.

Тот, кому не посчастливилось стать чудовищем — не важно чего, пусть даже святости, — внушает презрение и зависть.

Хроника не назовешь размазней. Он на свой лад *состоялся.* Всякая болезнь — знак качества.

Все, что хоть какой-то мелочью не напоминает о похоронах, с неизбежностью вульгарно.

Стриндбергу в конце жизни случалось прини-

мать Люксембургский сад за Гефсиманский.

…А мне он порой казался чем-то вроде Распятия — правда, растянутого лет на сорок!

В руках врача-специалиста чувствуешь себя последней дрянью, завалью Творения, шушерой. Нет, не должен человек знать, чем он мучится, а еще меньше — от чего умирает. Любое уточнение здесь кощунство, поскольку *единственным словом* уничтожает тот минимум тайны, которым, как предполагается, должна обладать смерть. Да и жизнь.

Быть варваром — и не выносить другой жизни, кроме тепличной!

Подтачивая силы, боль укрепляет самолюбие. Враг подзаряжается от нашего сопротивления.

Молитва, не знающая удержу, истребительная, убийственная молитва, молитва, переходящая прямо в смерть!

В самые оптимистические минуты я говорю себе, что моя жизнь была адом, *моим* адом, адом по моему вкусу.

Да нет, воздуха мне хватает, но я не знаю, что с ним делать, зачем его вдыхать…

Поскольку смерть — это само равновесие, *жизнь* равнозначна *неуравновешенности:* уникальный пример полной синонимии.

Все, что я действительно понял, сводится к тем же болезням, опустившимся до абстракций.

Жар придает написанному жизнь — но надолго ли? Зачастую именно страстные книги быстро блекнут, тогда как другие, рожденные усталостью, переживают эпоху за эпохой. Вечная скука, бессмертие холодного отвращения!

На испанской границе несколько сот туристов, по большей части скандинавов, ждут своей очереди на таможне. Какой-то крупной женщине, явно испанке, приносят телеграмму. Вскрыв ее, она узнает о смерти матери и тут же ударяется в плач. Какое счастье, думаю я, тут же избавляться от боли, вместо того чтобы ее таить, накапливать, как сделала бы любая из этих блондинок, которые изумленно смотрят на рыдающую и, жертвы собственной сдержанности и благовоспитанности, будут потом изливаться у психоаналитика.

Лучший способ утешить несчастного — внушить, что он кем-то проклят. Подобная разновидность лести помогает переносить тяготы, ведь

идея проклятия подразумевает избранность, отмеченность бедой. К любезностям чувствителен даже умирающий: самолюбие гаснет лишь вместе с сознанием, а то и переживает его, как случается во сне, когда чье-то угодничество перед нами доходит до такой степени, что мы вдруг просыпаемся от нестерпимого упоения и стыда.

Доказать, что человек не выносит человека? Достаточно оказаться в толпе, чтобы затосковать о безжизненных галактиках.

Как получилось, что самоубийство, единственный нормальный поступок, стал уделом выживших из ума?

> *…Better be with the dead*
> *Than on the torture of the mind to lie*
> *In restless extasy*[37].

Макбет — брат мой, мой глашатай, гонец,
мой двойник.

Обнаружить в самой глубине души нехорошее чувство, недостаточно сильное, чтобы проявиться в открытую, и недостаточно слабое, чтобы не

---

[37] Примечания: 37

«Милей судьбой с убитым поменяться, // Чем страхами, убив его, терзаться» *(англ.)*. — Шекспир, «Макбет», III, 2 (перевод Ю. Корнеева).

давать о себе знать, — что-то вроде неусыпного беса, одержимого злом, которое он себе напридумывал, всевозможными ужасами, которых не совершил…

Все вокруг поносят его последними словами. А я, им наперекор, его защищаю, я отказываюсь судить человека, который в юные годы, когда его пригласили в морг опознать труп отца, сумел перехитрить сторожей, остаться внутри и провести там целую ночь. Подобный поступок дает особые права — он его, естественно, так и понял.

«Позвольте, я буду за вас молиться». — «Очень признателен. Только вот *кому?*»

У этого философа никогда не поймешь, что он имеет в виду, говоря о Муках: синтаксическую проблему или исходное и главное переживание человека.

Польза бывает только от разговоров с бывшими горячими головами, со вчерашними энтузиастами… Остыв, они вольно или невольно сделали решающий шаг в сторону Умудренности, этой безличной версии разочарования.

Пытаться излечить кого-то от его «порока», от самого глубокого, что в нем есть, значит по-

сягать на его я — именно так понимает дело он сам и никогда не простит, что вы принудили его уничтожать себя по вашему образцу, а не по его собственному.

Тянуть жизненную лямку нас заставляет не инстинкт самосохранения, а всего лишь неспособность *увидеть* будущее. Да что там увидеть — просто вообразить! Узнав, что его ждет, никто не опустился бы до продолжения. А поскольку любой завтрашний крах остается абстракцией, к нему не можешь приноровиться. И не в силах это сделать, даже когда он обрушивается тебе на голову и *выживает* тебя из твоей же собственной жизни.

Какое безумие обращать внимание на историю! А что делать, если ты *ужален* Временем?

Я интересуюсь всем на свете, кроме *других.* И способен быть кем угодно, только не законодателем.

Непонятость или равнодушие окружающих сопровождаются явной удовлетворенностью, известной всем, кто работал, не получая отклика. Однако подобная удовлетворенность, вместе с подмешанным к ней чувством превосходства,

мало-помалу слабеет, как выветривается со временем все, включая завышенные представления о себе, основа любых амбиций и любых трудов, долговечных или однодневок.

Того, кто, имев дело с людьми, еще питает на их счет какие-то иллюзии, стоило бы приговорить к повторному воплощению, чтобы он очнулся, научился видеть, протер наконец глаза.

Возникновение жизни на земле? Мимолетная блажь, выверт, причуда стихий, каприз природы. Единственные, кто имеет хоть какое-то право брюзжать, — это штучные существа, несчастные жертвы подобных фокусов.

В одной недавней, вдохновленной Востоком книге писатель уверяет, что он переполнен, «проникнут невозмутимостью». Неизвестно, дорогой автор, как это произошло, но слишком понятно почему.

Все люди — отверженные, только не знают об этом. А я знаю, и что же, я их превзошел? В одном, пожалуй, да: я, *как мне кажется*, мучусь больше.

«Избавь меня от этого часа», — взывает «Под-

ражание»[38]. «Избавь меня от тирании времени», — стоило бы сказать.

NN — человек, изъяны которого я год за годом исследую, чтобы самому стать лучше… Он придает важность любой мелочи. Я понял, что именно этого и не следует делать. Его пример, всегда стоящий перед глазами, — от скольких восторгов он меня спас!

Вздрогнул, натолкнувшись на пассаж, где Жаклина Паскаль[39] хвалит брата, так далеко продвинувшегося в исполнении своего «желания исчезнуть из мнений и памяти людей»!

Вот дорога, по которой хотел пойти я, по которой даже сделал несколько шагов, но на которой был обречен увязнуть…

В самые тяжелые ночи вдруг наступает миг, когда перестаешь метаться и складываешь оружие: приходит покой, незримый триумф, высшее воздаяние после всех мук. *Податливость* — па-

---

[38] Примечания: 38

Имеется в виду «Подражание Христу» германо-нидерландского богослова, монаха-августинца Фомы Кемпийского (в миру — Томас Хамеркен или Хеммерлейн, 1379/1380–1471).

[39] Примечания: 39

Паскаль Жаклин (1625–1661) — младшая сестра Блеза Паскаля, монахиня.

роль, открывающий любые ворота. Нет никого сильнее сдавшегося борца, ничего выше, чем экстаз капитуляции…

Если верить Нагарджуне[40], тончайшему уму, который сумел превзойти даже нигилизм, Будда предлагает миру «нектар пустоты». После самого отвлеченного и самого сокрушительного анализа вспомнить о напитке, пусть даже напитке богов, — разве это не слабость, не сдача? Как бы далеко ты ни зашел, все равно повсюду с тобой эта гадость: быть — или хотя бы однажды быть — человеком.

О чем только не говорилось за сегодняшним шумным ужином! Вдруг мое внимание привлек улыбающийся портрет NN. Каким он казался довольным, как сияло его лицо! Всегдашний счастливчик, даже на холсте! Я ему на минуту позавидовал, даже мысленно упрекнул: словно он украл то, что причиталось мне. И тут же, внезапно, вздохнул с облегчением, вспомнив, что он покойник.

Чем дальше, тем больше признаю правоту Эпи-

---

[40] Примечания: 40

Нагарджуна (II в.) — индийский философ, один из учителей махаянского буддизма, развил учение о смысловой наполненности пустоты (так называемая шуньявада).

кура, смеющегося над людьми, которые во имя интересов своей страны готовы не раздумывая пожертвовать тем, что он называет «царским венцом невозмутимости».

На берегу моря пережевываю свои давние и свежие обиды. И тут же чувствую, до чего смешно заниматься собой, когда перед глазами зрелище такой широты. Немедленно меняю тему.

Среди ночи за пустейшей книжонкой вдруг вспомнил давно умершего друга, чье мнение для меня всегда много значило. Что бы он сказал, увидав, на что я трачу оставшееся время? Слово ушедшего — единственно веское слово, поскольку оно единственно подлинное, если в человеческой жизни вообще можно говорить о подлинности.

Если пришел в мир с нечистой совестью, как будто запятнал себя в прошлом существовании невесть какими злодействами, уже не важно, прибавишь ли ты к ним в этой жизни еще несколько: все равно тебе тащить то же бремя стыда, ни причины, ни смысла которого ты понять не в силах.

Сделав какую-нибудь пакость, почти всегда

чувствуешь себя подавленным. Но это ложная подавленность: едва ее ощутив, ты тут же раздуваешься от спеси, гордясь тем, что испытываешь такой благородный стыд, пусть даже неприятный.

Написанное передает лишь часть случившегося, потому что слова приходят и живут только тогда, когда ты выше себя — или ниже.

При мысли о *бесконечном времени* у меня, жалкого обсевка, не хватило скромности уйти из жизни. А ведь осознав весь ужас, который кроется за подобным клише, следовало бы исчезать немедленно.

Глядя на снимки человека в разном возрасте, начинаешь понимать, почему Время слывет кудесником. То, что оно с нами делает, невероятно, поразительно, похоже на чудо, только чудо навыворот. Этот кудесник — скорее разрушитель, какой-то садистический ангел на побегушках у Божественного Лика.

NN звонит из психбольницы, и пока мы разговариваем, я думаю про себя, что с мозгами ничего поделать нельзя, что их не удастся привести в нормальное состояние, что непонятно, как воз-

действовать на миллиарды поврежденных или взбунтовавшихся клеток, — короче, что Хаос *не чинят.*

При виде сведенного или перекошенного страстью лица, всей мимики честолюбца у меня подкатывает к горлу. В начале жизни я сам бывал жертвой бешеных амбиций, и теперь мне омерзительно видеть у других стигматы собственной юности.

Подлинное и напускное в любых темных речах — как их разграничить? Ясная мысль, жертва честности, верна себе; другая, туманная, простирается вдаль и ищет спасение в загадочности, подозрительной, но неуязвимой.

Бессонной ночью каждая секунда до того полна и до того пуста, что может соперничать со Временем.

По-настоящему *глубоко* думают только те, кому посчастливилось не заразиться чувством юмора.

Среди жизненных невзгод возможность покончить с собой есть, по словам Плиния, «величайшее благо, дарованное человеку». И Плиний сочувствует богам, которые не ведают подобного соблазна и подобного счастья.

Жалеть высшие существа за то, что у них нет возможности уйти из жизни! Великая, поразительная мысль, она одна доказывает превосходство язычников над безумцами, которые вскоре придут им на смену.

Говоря о мудрости, никто не имеет в виду *христианскую* мудрость: таковой не существует, не может существовать. Две тысячи потерянных лет. Религия, проклятая еще в зародыше.

Помню в детстве свое потрясение при рассказе только что вернувшегося с кладбища отца: потерявшая дочку молодая мать расхохоталась, когда гроб стали опускать в могилу. Помутнение рассудка? И да и нет. Разве на похоронах, когда все надувательство вдруг разом обнаруживается, каждый из нас не испытывал желание поступить как эта женщина? Происходящее слишком уж бьет в глаза, нас явно дурачат, природа *переигрывает.* Тут и правда можно впасть в безудержный хохот.

Состояния, причина которых понятна, не приносят плода, — обогащает, лишь что находит на нас неизвестно почему. И особенно это верно для любых крайностей — уныния или восторга, угрожающих самой неприкосновенности нашего

разума.

Вызвать вздох, вскрик, нападки… позволить всем не стесняться. Автор ставит себя, сравнительно с читателем, в положение низшего, и читатель отвечает ему благодарностью.

Каждый имеет право приписывать себе то происхождение, которое ему нравится и которое делает его *понятным* в собственных глазах. Сколько раз за жизнь я менял предков!

Апатия спасает от болтологии, а тем самым и от неприличия любой производительности.

Когда этот старый философ хочет от кого-то отделаться, он называет его «пессимистом». Так, словно говорит «подлец». Пессимист для него каждый, кто не выносит утопий. Тем самым он обвиняет в низости любого противника бредней.

Любым способом внести свой вклад в разрушение той или иной системы — вот к чему стремится тот, чью мысль высекает лишь противодействие и кто никогда не удовлетворится мыслью как таковой.

Время подтачивает не только все живое, оно подтачивает и себя — как будто устав тянуться

и исчерпав свою лучшую часть, Возможное, оно хочет вытравить даже ее след.

Никакого иного мира нет. Нет даже этого. Что же тогда есть? Тайная улыбка, вызванная в нас очевидным отсутствием того и другого.

Не бойтесь переусердствовать, не доверяя своей эйфории. Чем она дольше, тем больше у вас оснований насторожиться. Чаще всего неоправданная, она несет ощущение победы, для которого не просто нет серьезных причин, но и вообще ни малейшего повода. Вместо того чтобы ею упиваться, стоило бы увидеть в ней предзнаменование, предупреждение…

Человечество довольно долго терзалось, стоя перед выбором. Но с тех пор как сама возможность выбирать упразднена и человек свыкся со своей неверной дорогой, он находит блаженство в непринадлежности ни к чему. Любой конфликт беспочвен и бессмыслен, так ради чего сражаться, мучиться, глодать себя? Но человек — животное, упорствующее в заблуждении: единожды пав жертвой сомнений и не находя больше радости в войне с ближним, он сосредоточивается на себе, чтобы уж тут, по крайней мере, тиранствовать вволю. Он доводит сомнение до бесконечности и,

добавив пирронизму черноты, вслед за Паскалем превращает воздержание от суждений в безнадежный допрос.

Дружба — это договор, соглашение. Двое молчаливо условливаются никогда не разглашать того, что *на самом деле* думают друг о друге. Своего рода союз на основе взаимной деликатности. Стоит одному из участников растрезвонить о недостатках другого, договор нарушен, союз расторгается. Никакая дружба не выдерживает, если один из партнеров перестает соблюдать правила игры. Иными словами, никакая дружба не переносит излишней искренности.

Мне было чуть больше двадцати, философу, с которым я разговаривал, чуть больше шестидесяти. Не помню уж, как мы добрались до неблагодарной темы здоровья. «Последний раз, — признался мой собеседник, — я болел, по-моему, в одиннадцать лет. А с тех пор — ни разу».

Целых полвека прожить здоровым! Однако беспредельного восхищения философом это у меня не вызвало, напротив, я немедленно стал его презирать.

Промахиваются все, кроме юмористов. Они одни бьют в цель, высмеивая пустоту всего се-

рьезного — и даже всего смешного.

Я полажу с собой в тот день, когда мысленно соглашусь на смерть, как соглашаются на званый ужин: с приятным отвращением.

Докучать человеку стоило бы лишь в двух случаях: сообщая о стихийном бедствии или делая головокружительный комплимент.

Только вконец рехнувшийся оплакивает чью-то смерть, вместо того чтобы возгласить: «Скатертью дорога!»

Бесполезный уникум, образец, которому никто не следует, — вот какого уровня следовало бы добиваться, если хочешь чего-то стоить в собственных глазах.

Если скептик всерьез допустит, что истина существует, у простаков может возникнуть иллюзия, будто он надеется в один прекрасный день ее заполучить. Что до меня, признался он, я соблюдаю приличия, признаю их, но следую им только в тех случаях, когда не имею возможности нарушить. Я поступаю как все, тоже исполняю то, что полагается, но не вкладываюсь ни в слова, ни в действия, а всего лишь склоняю голову перед обычаем и законом, делаю вид, будто раз-

деляю убеждения, то бишь пристрастия, моих соплеменников, сознавая, что по сути я ничуть не *ощутительнее,* чем они.

Так кто же такой скептик? Мнимый… конформист.

Нужно, говорите вы, жить так, словно никогда не умрешь. Или вы не знаете, что все на свете, включая одержимых самоубийством, ровно так и живут?

Наблюдать, как становишься все захудалее, смотреть на *скромное* издание того зазнайки, которым когда-то был!

Как правило, человек достаточно спокойно мирится с тем, что его время прошло. Но он никогда не признается, что с удовольствием сохранился бы в памяти других. И сколько людей на свете живут этим затаенным, постыдным удовлетворением…

Отрицать первородный грех может только тот, кто не растил детей.

…Я их не растил, это верно, но достаточно вспомнить свои детские реакции, чтобы ни секунды не сомневаться в дате, когда на нас ставят клеймо.

Этот беспредельно ранимый, заживо освежеванный человек с непонятной близорукостью удивляется, что его потомство внушает известную тревогу. Людям хрупким не стоило бы заводить детей, а уж если обзавелись, надо понимать, на какие угрызения себя обрекаешь.

Жизнь, более или менее, состоит из скуки, хотя именно в состоянии скуки, больше того — благодаря этому состоянию, понимаешь, чего она вправду стоит. Как только скука закрадывается в вас, как только вы склоняетесь перед ее незримым господством — все остальное теряет смысл. То же самое можно сказать про боль. Конечно. Только боль сосредоточена, а скука — это мучение, которое не гнездится нигде, которое ни на чем не держится, которое неуловимо и пожирает изнутри. Чистейший пример распада, действия которого не чувствуешь, но который понемногу превращает вас в развалину, не вызывающую интереса у других, да, в общем, и у вас самого.

Одержимость смертью вовсе не гасит сексуального влечения. Наоборот. Можно смотреть на мир как буддистский монах и при этом обнаруживать недюжинную силу. Подобная диковинная совместимость делает иллюзией любую попытку

достичь совершенства путем аскезы.

По счастью, муки предохраняют нас от слишком отвлеченных, условных, «литературных» головокружений. Зато уж сами дарят настоящий экстаз.

Изливать на мир больше проклятий, чем все бесы вместе взятые, и чувствовать себя зависящим от конечностей, от капризов тела, от собственных отбросов!

Нет, тот, кто не мучился, *не человек:* в лучшем случае, человеческий экземпляр.

В промежутках, когда относишься к смерти с чувством превосходства, кажется, вырастаешь в собственных глазах. Напротив, оказываясь с ней лицом к лицу, униженный страхом, делаешься более похожим на себя, более *глубоким*, как всякий раз, когда перестаешь философствовать, позировать, врать.

Когда случайно встреченная во время прогулки старая знакомица стала уж совсем допекать меня, уверяя, будто «частица Божества» есть во всяком земном создании, я спросил: «И в этом?» — кивнув на какую-то ничтожнейшую из прохожих. Тут она растерялась, еще раз подтвердив, что бо-

гословие и метафизика пасуют перед торжеством мелкотравчатости.

В человеке есть зерно всего, и хорошего и плохого, — кроме способности отказаться. Ничего удивительного, что мы цепляемся за любой пустяк, а для противоположного нам недостает силы духа. Ниспошли нам способность к отказу, мы и тогда не сумели бы использовать ее иначе, как снова *снизойдя* до существования.

Примкнув или обособившись, приняв учение или отвергнув, мы все равно будем гордиться собой, с той лишь разницей, что в первом случае краснеть придется куда гуще, чем во втором, поскольку способность себя *убедить* лежит в основе едва ли не всех наших ошибок, равно как и всех унижений.

«Ваша книга провалилась». — «Вот именно. Только вы забываете, что я именно этого и хотел и что для нее это была единственная возможность *удаться».*

Умереть в шестьдесят или в восемьдесят куда труднее, чем в десять или в тридцать. Привычка — вот в чем тут дело. Ведь жизнь — это порок. Причем самый тяжелый. Потому и стоит такого

труда от него избавиться.

Когда, случается, я доволен всем, даже Господом Богом и собою самим, я тут же реагирую на манер человека, который в лучезарный день не находит себе места из-за того, что через несколько миллиардов лет Солнце непременно взорвется.

«Что есть истина?» — вопрос, конечно, основополагающий. Но чего он стоит рядом с вопросом: «Как переносить жизнь?» А этот последний бледнеет рядом с другим: «Как выносить *себя!»* Вот поистине ключевой вопрос, на который никто не в состоянии нам ответить.

Как я мог забыться и заговорить у постели этого тяжелейшего больного о своей прогулке по кладбищу в Пасси и беседе с тамошним могильщиком? Я спохватился на самой середине шутки, лишний раз подчеркнув неуместность собственной болтовни. Таких тем можно касаться лишь за столом, когда вокруг пируют и нужны несколько похоронных аллюзий, чтобы раззадорить аппетит.

Единственные мгновения, которые стоило бы спасти от окончательного распада памяти, — это те, когда мы не могли себе простить, что оказа-

лись не Первыми или не Последними.

Упрекая этого философа за то, что он ставит свою подпись под взаимоисключающими протестами, что он, позабыв о собственных убеждениях, одновременно или попеременно голосует за партии, армии или тезисы, находящиеся в непримиримой вражде, упускают из виду главное: именно этим и должна заниматься философия. Чего она стоит, если глуха к чужим резонам? Из двух сражающихся сторон вряд ли полностью права одна. Выслушивая их по очереди, склоняешься, если говорить по совести, к доводам каждой, рискуя в конце концов уподобиться флюгеру — иными словами, посмотреть на дело уж *слишком* философски.

Что прикажешь думать об этих людях? Вот вопрос, который я себе задаю при каждом знакомстве. До того мне странно, что кто-то существует, соглашается существовать.

В Ботаническом саду долго следил за глазами аллигатора, за его ископаемым взглядом. В рептилиях меня привлекает именно эта их непробиваемая тупость, они и вправду напоминают камни: чудится, они возникли *до* появления всякой жизни, что они опередили жизнь, ничем

ее не предвещая, что они каким-то образом улизнули от нее…

«Что такое боль? То, что рождается в тебе при взгляде на радости этого мира». Одним словом, «Абхидхарма-кошавьякхья»[41] — короче на такой вопрос не ответить.

Самым немноголюдным, но самым чудовищным кругом ада, наверное, стал бы тот, где грешники не могут ни на миг позабыть о Времени.

«Какая разница, кто я сейчас, если в один прекрасный день меня не станет!» — вот что следовало бы отвечать на вопросы тех, кто так беспокоится о нашей личности и хотел бы любой ценой замуровать нас в какой-нибудь категории или формуле.

Все бессмысленно, включая сознание этой бессмысленности.

Этот таинственный, глубокий, сложный и непостижимый народ, всегда отличавшийся и поныне отличающийся во всем, даже в упадке, придет к поистине достойному концу и переживет беды,

---

[41] Примечания: 41

Так называется комментарий Яшомитры к классическому трактату буддистского философа Васубандху (IV–V вв.).

за которые ему не придется краснеть.

Гомер возмущает (Гераклит, тот и вовсе полагал, что старик заслуживает плетки[42]), поскольку не рассиропливается и боги, наподобие смертных, ведут себя у него как отъявленные головорезы. Еще не возникла философия, чтобы их припомадить, обескровить, подсластить. Юные, живые, кипящие жизнью, они делят с людьми погибельную страсть. Заря мифологии (история — свидетельница!) — вот что потом больше всего пугает. Лучшие боги — боги *истощенные* и бессмертные. К несчастью, достигнув стадии, когда кровожадность сменилась усталостью, они уже недолго протянут. Их сменят другие, могучие и беспощадные. Так и попадают из света во мрак, из покоя — в эпопею.

Омерзительнейшая Клио!

И совсем она не удручает, эта мысль, что ни единая душа не вспомнит о пустячном происшествии и что не останется ни малейшего следа от *меня,* искателя мучений, о которых не осмеливался мечтать ни один кровопийца.

---

[42] Примечания: 42
Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях...», IX, 1, 1.

Неспособный жить сегодняшним днем — только будущим или прошлым, тревогой или сожалением! Тут богословы категоричны: это и есть удел и вместе с тем определение грешника. Человек без настоящего.

Все происходящее естественно и непостижимо разом.

Рассматривай ты события большие или малые, такой вывод напрашивается сам собой.

Каждое утро просыпаться с настроением республиканца после Фарсальской битвы[43].

Отвращение, отвращение — и так до потери смысла и этого слова, и самого разума.

Самая большая победа в моей жизни — то, что я еще жив.

Обладай волны сознанием, они решили бы, что не стоят на месте, что у них есть цель, что они движутся вперед, работают на благо Моря, и наверняка развели бы философию, столь же недалекую, как их усердие.

Если бы мы сумели увидеть окружающее без

---

[43] Примечания: 43

В 48 г. Цезарь разбил при Фарсалах Помпея. За Помпеем стояли оптиматы, остатки аристократических родов времен старой республики, за Цезарем — популяры, римский плебс, новые выходцы из провинций.

прикрас, у нас, думаю, еще хватило бы духу заснуть, но наверняка не хватило бы — проснуться.

Всю жизнь только и делаю, что борюсь с единственным желанием — прекратить бороться. Результат — нулевой.

Счастливы не знающие, что стареть означает присутствовать при том, как твои противоречия становятся все острее, и что это единственная разновидность прогресса, которую не стыдно поставить себе в заслугу.

Все, за что я брался, о чем я эти годы толковал, неотрывно от моей жизни. Я ничего не придумал, я был всего лишь секретарем собственных состояний.

IV

Эпиктет: «Счастье — не в достижении и не в наслаждении достигнутым, а в отсутствии желаний». Мудрость определяет себя через противоположность Желанию, поскольку стремится поднять нас над обычными разочарованиями, равно как и над разочарованиями непоправимыми, ведь и те и другие неразлучны с желанием, ожиданием, надеждой. Прежде всего она хочет

уберечь нас от главных жизненных разочарований — в этом смысле мудрость совершенствуется в искусстве не уступать «жребию», а то и переигрывать судьбу. Из всех древних дальше всех в подобном искусстве пошли стоики. Для них мудрец занимает в мире положение совершенно исключительное: боги защищены от бед, он же стоит *выше* несчастий и наделен силой, укрощающей любые желания. Боги своим желаниям все еще подчиняются, они их рабы, он же, единственный, для них недоступен. Как он достигает такой исключительности, как добивается превосходства над всем живым? Кажется, понимание его статуса приходит к нему не сразу: он и вправду выше людей и богов, но должен подождать, чтобы в этом убедиться. Подразумевается, что осознать свое положение ему нелегко, тем более что окружающие то и дело спрашивают себя, когда и где еще было видано существо столь поразительное и ни на кого не похожее, подобный образец добродетели и достоинства. Мудрец, заявляет Сенека, выше Юпитера, поскольку может презирать посулы этого мира и отказаться от его выгод, тогда как Юпитер, не чувствуя в них ни малейшей потребности и заранее им чуждый, не имеет ни возможности над ними возвыситься,

ни заслуги над ними торжествовать.

Никогда еще человека не возносили так высоко. Откуда могли прийти такие преувеличенные представления? Рожденный на Кипре Зенон, прародитель стоицизма, был эллинизированным финикийцем и до конца жизни остался метеком. Антисфен, основатель кинической школы (стоики были ее облагороженной или вырожденной версией, как кому заблагорассудится), родился в Афинах от матери-фракиянки. В их учениях чувствуется что-то явно негреческое, стиль мысли и жизни, восходящий к другим краям. Не исключено, что все *разительное,* все *кричащее* в развитой цивилизации принесено новоселами, иммигрантами, маргиналами, стремящимися блеснуть… короче говоря, изысканным сбродом.

С приходом христианства мудрец перестает быть примером. Он уступает свое почетное место святому — мудрецу периода потрясений, почему и более доступному для понимания масс. При всей распространенности и престиже стоицизм остался уделом людей тонких, этикой патрициев. Как только они исчезли, исчез и он. Культ мудрости померк надолго, если не навсегда. В любом случае его не найти в современных учениях, которые придуманы людьми не только не

мудрыми, но и попросту *немудреными.*

Если бы Юлиан Отступник не умер тридцатидвухлетним, а дожил до более зрелого возраста, сумел бы он задушить нарождающееся суеверие? Сомнительно. Думаю, сомневался в этом и он сам, поскольку если бы верил в удачу, то не отправился бы воевать с парфянами и не стал глупо рисковать жизнью в то время, когда его ждала другая, куда более серьезная схватка. Наверняка он чувствовал, что его дело обречено. Тогда уж лучше погибнуть на окраине империи.

Только что прочитал в биографии Чехова, что больше всего рукописных помет он оставил в книге Марка Аврелия.

Деталь, которая разом озарила для меня всё.

Что-то от тебя зависит, а что-то нет, но как это разграничить? Я не возьмусь.

Иногда я чувствую себя целиком в ответе за сделанное, но, хорошенько подумав, понимаю, что следовал силе, которой не управлял; в других случаях считаю себя стороной зависимой и подчиненной, тогда как следовал доводам, принятым безо всякого принуждения, даже… разумного.

Невозможно знать, когда и в чем ты свободен, а когда и в чем закрепощен. Если всякий раз до-

искиваться до точной природы своих действий, дойдешь не до конца, а до головокружения. Из чего следует, что, если бы проблема свободы воли имела решение, философии незачем бы стало существовать.

Мы можем представить вечность, только исключив из нее все преходящее, все, что для нас по-настоящему *значимо.* Она и есть вычет, бытие, не обладающее ни одним из свойств бытия, отсутствие, держащееся неизвестно на чем, следовательно, ничто или в лучшем случае почтенная условность.

Так же как настоящий экстаз, простая эйфория, экстаз ребяческий, — это вовсе не естественное явление, а вывих, ересь, особое, но при этом неожиданное состояние, за которое приходится платить. Поэтому, переживая его, нужно всякий раз быть готовым к «искуплению», когда незамедлительному, когда отсроченному, но всегда неотвратимому. За *подъемом,* какой формы он ни будь, следует более или менее острая мигрень, тошнота или другая пакость, столь же ничтожная и столь же унизительная.

Неопровержимый знак духовной незрелости человека — болезненная реакция на любое по-

рицание, немедленный сердечный укол в ту же секунду, как только в нас так или иначе попали. Это в каждом из нас вопиет ветхий Адам, доказывая, что мы еще не освободились от своих корней. Сколько ни стремись быть презреннее последнего из людей, остаешься таким же, как все, как те, кто и вправду заслуживает презрения.

NN, который всю жизнь избегал смотреть на вещи прямо, а козырял терминами и не жалел туманных понятий, теперь, когда пришла пора взглянуть в глаза собственной смерти, совсем плох. К счастью для себя, он по привычке вдается в абстракции, в общие места, приправленные жаргоном. Фокусничанье с важным видом — вот что такое философия. Но, в конце концов, *все на свете фокусничанье,* кроме слов, относящихся к тому порядку утверждений, который обычно не решаются пускать в ход, поскольку питающая их достоверность неподначальна разуму и существовала *задолго* до того, как человек взялся за ум.

Это было зимой, в Люксембургском саду, почти сразу же после открытия. В аллеях никого, кроме одной пары: он — худой, с иголочки одетый старик, она — молодая, деревенского вида. Ту-

ман лежал до того густой, что они даже вблизи выглядели призраками. Через каждые десять шагов парочка останавливалась, чтобы расцеловаться с такой поспешностью, как будто они увиделись только что. Счастье или отчаяние скрывалось за их неистовством в такой ранний, такой неподходящей для излияний час? И если они везде вели себя с такой раскованностью, то как они представляли себе интимную близость? Следя за ними, я говорил себе, что любая парная эквилибристика — чушь и дичь, но дичь своя, чушь особенная.

Среди ночи сбиваться с ног, делать какие-то мыслимые и немыслимые упражнения, глотать таблетки — и для чего? В надежде свести на нет эту странную вещь, погибельную напасть, именуемую сознанием. Только сознательному, иначе говоря, искалеченному существу могло прийти в голову выражение «провалиться в сон» — как в пропасть. Это и вправду пропасть, но пропасть редкостная, недосягаемая, за семью печатями, пропасть, в которой так тянет исчезнуть!

В молодости я мечтал перевернуть мир. Теперь я в возрасте, когда о переворотах больше не мечтают: мир перевернул меня. А что лежит

между двумя этими крайними точками? Можно сказать, ничего — или всё: неописуемая убежденность, что ты не тот и никогда уже не будешь прежним.

Каждый уходящий уносит с собой целый мир: разом умирает все, совершенно все. Высшим судом смерть узаконена и реабилитирована. Так уйдем же без сожалений, поскольку после нас не остается ничего. Единственная и неповторимая реальность — это наше сознание: упраздняется оно, упраздняется и все остальное, даже если мы *знаем,* что, говоря объективно, это неправда и как на самом деле мы ничего не берем с собой, так ничто и не исчезает вместе с нами.

В парке — табличка: «В соответствии с состоянием (возрастом и болезнью) деревьев будет предприниматься их пересадка».

И здесь конфликт поколений! Простой факт существования, даже растительного, и тот отмечен знаком гибели. Нет, дышать можно, только если забываешь, что ты жив.

Ничто так не бодрит, как рассказ обращенного. Вместо тонизирующих средств стоило бы прописывать исповеди прозревших, *возродившихся:* сколько жизненных сил, какая жажда иллюзий,

сколько привлекательности в каждой новой, да и в старой лжи! Напротив, при первом же столкновении с истиной все тускнеет, все выглядит враждебным, как будто ее роль только в том и состояла, чтобы выбить землю у нас из-под ног.

Кажется, в Китае существует (или, скорее, существовало, настолько это отдает прошлым) такое тонкое удовольствие для самых изощренных, как внимательное прислушивание к тиканью часов. Подобная — на первый взгляд столь *материальная* — поглощенность Временем есть на самом деле упражнение высокофилософское, предаваясь которому достигаешь чудесных результатов в настоящем, именно в настоящем.

Скука, разрушительный продукт одержимости Временем, наделена правотой гранита. И таким недоноскам, как я, ей противостоять?!.

Целая эпоха моей жизни выглядит сегодня почти невероятной, до того я от нее отошел. И это был я? Не может быть. Вчерашние увлечения кажутся смехотворными. Столько пыла — и впустую!

А если перенести эту оптику на жизнь целиком, не предстанет ли и все прожитое обманом, очковтирательством, бессмыслицей? И если оно

привидится таким в последний час? Но этот час нет необходимости ждать: в иные минуты пробуждения видишь, что основы существования так же ненадежны, как прикрывающая их видимость, и что не нужно особого случая, чтобы увидеть, до чего они прогнили, поскольку они попросту и самым прекрасным образом отсутствуют.

Так называемые простые люди, не желающие думать о конце, в общем правы, особенно если посмотреть, на что похожи те, кто лишь этими мыслями и занят.

Мы забываем о теле, а вот тело о нас не забывает. Проклятая память внутренностей!

Принимал ли я или отвергал, итогом всегда было сожаление.

Почему было не кинуться очертя голову в разгул невмешательства?

То, что можно высказать, нереально. Существует и чего-то стоит только не передаваемое словами.

Худа та книга, которую невозможно читать, каждую минуту не задаваясь вопросом, кто ее

автор.

Ницше, гордившийся своей «интуицией», своим «нюхом», хоть и почувствовал значимость Достоевского, но зато столько раз обманывался, бессчетное количество раз увлекался писателями второго и третьего разбора! Поразительно, что даже он поверил, будто за Шекспиром скрывается Бэкон, самый непоэтичный из философов.

Составь мы перечень всех допущенных им ляпов, мы бы тут же убедились, что по количеству и весу они не уступают вольтеровским. У Ницше, однако, есть одно смягчающее обстоятельство: нередко он обманывался, *желая* быть или казаться легкомысленным, тогда как Вольтеру даже не приходилось тратить на это силы.

Мыслить — значит стремиться к ненадежности, значит *убиваться* из-за полной ерунды, замыкаться в отвлеченностях со страстью мученика, значит искать усложненности, как другие ищут гибели или наживы. Мыслитель, по определению, *ненасытен в самоистязании.*

Если бы смерть была решением проблемы, уверяю вас, живые нашли бы способ от него отвертеться.

По Алкмеону Кротонскому[44], современнику Пифагора, источник болезни — нарушенное равновесие между теплым и холодным, влажным и сухим, противоположными началами, из которых состоит человек. Когда одно из них берет верх и принимается диктовать, возникает болезнь. Она, по его словам, всего лишь «монархия» одного из начал, тогда как здоровье проистекает из их «равноправия».

В этой картине что-то есть: нарушение равновесия возникает как результат чрезмерного развития одного органа за счет других, его *жажды* навязать себя другим, заявить, *протрубить* о себе: пыжась, стараясь быть замеченным, он выводит из строя весь организм и подтачивает его будущее. Больной орган — это орган, который обособляется от тела и начинает его тиранить, губя и его, и себя только ради того, чтобы блеснуть, пощеголять наособицу.

Он и стихи пишет лишь для того, чтобы сказать, что со смертью жизнь кончается. Конечно, а разве можно сказать что-то другое?

---

[44] Примечания: 44

Некоторые (Диоген Лаэртский) называют его учеником Пифагора. Автор прозаического трактата «О природе», дошедшего лишь в пересказах, Алкмеон специально занимался теорией зрения и был первым врачом, оперировавшим глаз.

Стараюсь представить себе момент, когда и вправду испытаю *последнее* желание.

Жаль, что Господь Бог не сохранил за собой монополию на «я» и выдал нам разрешение тоже употреблять в речи первое лицо. А так просто было избавить нас от этой напасти!

«Следуй своим склонностям, вместо того чтобы искать свой путь».

Это словцо Талейрана меня преследует. Переча своим «склонностям», я годами гонялся за формулами счастья, противными моей природе, пытался сгладить свои дурные наклонности, вместо того чтобы отпустить себя на волю, посвятить… себе. Это меня соблазнял искуситель, *дух спасения*, и, поддаваясь ему, пусть лишь на время, я собственными руками ослаблял в себе того, кем был и кем должен был оставаться.

Становишься собой, только опираясь на свои выверты, действуя заодно со своими слабостями, следуя своим «склонностям». Пускаясь на поиски своего «пути», избирая достойнейший образец, мы себе изменяем, уходим от себя…

Неповторимость любого существа неотрывна от его собственной манеры заблуждаться. Первейшая заповедь-невмешательство: пусть

каждый живет и умирает как считает нужным, словно ему выпало счастье не походить ни на кого, быть этаким священным идолом. Оставьте ближних такими, каковы они есть, и они ответят вам признательностью. Так нет, вы хотите их счастья любой ценой? Тогда берегитесь.

Прав ровно в той мере, в какой не отягощен ни малейшим талантом.

Мы раскаиваемся, если не нашли в себе сил принять то или иное решение, но еще больше раскаиваемся, если его приняли, не важно какое. Лучше не действовать, чем пожинать плоды сделанного!

Слова Исаака Сирина[45]: «Что же до тех, кто достиг совершенства, то знак их таков: по десяти раз на дню преданные сожжению из любви к роду человеческому, они почитают это за малость и не удовлетворяются этим». Эти отцы-пустынники, так легко жертвующие собой и молящиеся за всё и за всех, даже, наверно, за пресмыкающихся, — какое в них великодушие и какая извращенность!

---

[45] Примечания: 45

Исаак Сирин, или Сириянин, епископ Ниневийский (VII–VIII вв.) — христианский писатель, сирийский пустынник, испытал влияние Дионисия Ареопагита, сам заметно повлиял на христианскую и мусульманскую мистику.

А сколько досуга! Уйму свободного времени и безумное любопытство в придачу нужно иметь, чтобы проникнуться такой жалостью ко всему живому. Аскеза — высочайшая из патологий…

У любого больного больше мыслей, чем у так называемого мыслителя. Болезнь — это разделение целого, стало быть рефлексия. Она всегда отрезает нас от чего-то, а порой и ото всего. Даже последний идиот, пронзенный чувством острейшей боли, тем самым возвышается над собственным идиотизмом, он осознаёт свое чувство и, почувствовав, что это *он* страдает, становится выше своего чувства, может быть выше себя самого. Точно так же и животные должны обладать тем или иным уровнем сознания в зависимости от болезни, которой мучатся.

Самое загадочное на свете — предназначение тела.

Время абсолютно только для неизлечимых.

Не давать определений — в числе обязанностей любого скептика. Но как бороться со спесью, от которой лопаешься, сочинив самомалейшее определение? Нет, мания определять — одна из самых застарелых и наверняка родилась вместе

с первым словом.

В конце концов, не стоит так уж презирать философию: она прячется за более или менее очевидными истинами, трубя о заботах, которые, казалось бы, не имеют к вам никакого отношения, насаждая непонятные страхи, скрывая за блеском слов крики отчаяния. Философия? Безымянный стон…

Смысл имеет только одна разновидность беседы: между людьми, которые задались целью укрепиться в своем недоумении.

«Вернитесь, мы ведь можем так и умереть, больше не встретившись». — «Поскольку умрем мы наверняка… что проку встречаться?»

Мы всякий раз засыпаем с неописуемым удовольствием, мы ныряем в сон и счастливы в нем утонуть. Просыпаться потому и тяжело, что приходится покидать бессознательное состояние, наш подлинный и единственный рай. Иначе говоря, человек достигает предела, только переставая быть человеком.

«Злословие, — провозглашает Талмуд, — грех столь же тяжкий, как идолопоклонство, кровосмешение и убийство». Допустим. Но если можно

прожить жизнь не убивая, не ложась в постель с собственной матерью и не кадя золотому тельцу, то как вы ухитритесь протянуть день, не ненавидя своего ближнего и себя в его лице?

Получить пощечину или признать вину? Как правило, легче переносят пощечину.

Встав не в духе, непременно придешь к нескольким ужасающим открытиям. Хотя бы в себе самом.

Большая выставка насекомых. Только войдя, я тут же повернулся и ушел. Как-то я сегодня не расположен *восхищаться.*

Все-таки это чудовищное, хотя и переносимое унижение — нести в себе кровь народа, который никого и никогда не заставил о себе говорить.

Мир заблуждается, мир живет иллюзиями. В лучшем случае можно допустить, что есть разные уровни условности, иерархия мнимостей, даже предпочесть одну другой, но *принять* все это? Нет, нет и нет.

Только глядя в лицо небытию, мы возвышаемся над смертью. Уж если все нереально, то почему она должна быть исключением?

Даже не в стихотворении, а в афоризме — вот где слово превыше всего.

Как соединить нынешний день с мыслью, которая не выходила из головы вчера? Какой бы ни была ночь, ты проснулся другим, и ломать комедию непрерывности — значит себя дурачить. *Фрагмент* — жанр, конечно, не окрыляющий, но единственно честный.

Каждый ждет, когда болезни или годы отправят его в тираж. Между тем нет ничего проще, чем разом порвать *со всем этим.* Так нет же, люди, как и империи, предпочитают долгую, постыдную агонию.

Почему все, что собираешься сделать, — больше того, все, что делаешь, — кажется таким важным? Мельчайшим из наших шагов движет то самое ослепление, которое когда-то заставило Бога нарушить свое изначальное лодырничество, — и это главное, что нас извиняет.

Все утро твердил себе: «Человек — это бездна, человек — это бездна», — и сколько ни бился, не мог придумать ничего другого.

В конце концов, старость — это наказание за прожитую жизнь.

Скука, казалось бы, придающая взгляду глубину, на деле не делает мир глубже, по той простой причине, что направлена внутрь себя и промеряет лишь собственную пустоту.

Надежда — *смирная* разновидность бреда.

Чего мне не хватает, это *бытия.* Без опор не прожить, сколько бы я ни пытался.

Все напрасно, я не нахожу *ничего,* что могло бы существовать.

Самое трудное не в том, чтобы ополчиться на какой-нибудь из великих и неразрешимых вопросов, а в том, чтобы обратиться к кому-то с единственным тихим словом, которым сказано все и не сказано ничего.

Странный сон, о котором я предпочту не распространяться. Кто-то другой принялся бы в него вникать. И напрасно! Предоставим ночам погребать их мертвецов.

Когда любишь язык за все его достоинства, и явные и скрытые, кощунственная манера, в какой с ним обращаются лингвисты, вызывает такую ненависть, что, кажется, охотно поддержал бы любой режим, распорядись он их официально

повесить.

Считается, что всякий, стремящийся что-то создавать, «творить», должен «идти от себя такого, как он есть». Скорее, наоборот. Мы не знаем, кто мы такие, почему и беремся за дело, вглядываемся в других, но прежде всего в себя, допытываясь, кто этот незнакомец, который путается под ногами, отказывается назвать себя и отвязаться от которого удается, только добравшись до его тайн, нарушив их и раззвонив о них первому встречному.

Книга, до того эфирная, что непригодна для дыхания, доходящая до предела во всем и не обращенная ни к кому.

Собрать мысль в одно, довести извлеченную истину до блеска, по правде говоря, может каждый; но, чтобы ее *заострить* — а без этого сказанное останется изложением, обычной фразой, — требуется хоть капля виртуозности, иначе говоря шарлатанства. Умам цельным за это браться рискованно.

Автор, намеренный писать для потомков, — никчемный автор. Писатель не должен знать, для кого пишет.

Думающий признается в своей несостоятельности. Размышляющий возводит это признание в ранг достоинства.

Что выше: совершенство литературное или духовное, талант или внутренняя сила?

Кажется, предпочтительнее второе: встречается реже, а дает больше. Талант обречен угаснуть, внутренняя же сила, напротив, с годами растет, не исключено, что как раз в последнюю минуту она и достигает предела.

О Марке Аврелии, по словам его биографа Юлия Капитолина, говорили, что он выдвигает любовников своей жены «на разные высокие места».

Мудрость идет с экстравагантностью рука об руку. Впрочем, мудрец и заслуживает своего имени только в той мере, в какой он оригинал, *фрукт.*

Если уравновешенность так или иначе ослабляет разум, то здоровье его попросту губит.

Я никогда не мог понять, что такое *бытие,* за исключением нескольких минут, не имевших ни малейшего отношения к философии.

Предела достигаешь, только не стремясь ни к чему и до такой степени проникаясь этим ничем,

что уже хмелеешь.

Если бы я ослеп, больше всего меня, думаю, удручало бы то, что я не могу теперь до полного одурения смотреть на плывущие облака.

Жить — ненормально: любой из нас существует и действительно реален только постольку, поскольку живет *под угрозой.* Смерть всего лишь кладет конец этой аномалии.

Ребенок, который в два с половиной года не улыбается, должен, по-моему, внушать опасения. Улыбка — знак здоровья, равновесия. Почему и умалишенный смеется, но не улыбается.

Перед подобным скоплением надгробий кажется, что у людей нет другого дела на свете, кроме как умирать.

Какой-то незнакомец допытывается, вижусь ли я с NN. Я отвечаю «нет» и начинаю объяснять причины разрыва до того подробно, что, проснувшись, спрашиваю себя, как это можно во сне с такой точностью описать ситуацию, притом что все остальное тонет в путанице, причудах и анархии сновидений. Такова *логика злопамятства,* которая действует наперекор всему, даже Хаосу.

Можно ли быть твердым и не впасть в фанатизм? Несчастья требуют новых и новых *душевных жертв.* Так что «герой» — это всего лишь переодетый фанатик.

Все утро какое-то странное самочувствие: желание высказаться, строить планы, диктовать заповеди, *работать.* Бред, восторг, упоение, неукротимый подъем духа. К счастью, скоро наваливается усталость и возвращает мне благоразумие, призывает к порядку, к обычному ежеминутному ничтожеству.

Страшнее всего не хандра и не отчаяние, а их встреча, столкновение их. Оказаться между двумя такими жерновами!

Кто я — скептик? Флагеллант? Никогда не мог разобраться. Оно и к лучшему.

Кому не посчастливилось умереть молодым, доживает ходячей карикатурой на юношеские амбиции.

Отчаяние до того срослось с любым моим чувством, что приобрело от этого легкость рефлекса.

Какое точное выражение: «покушаться на чье-то время». Время — это все, чем мы живем и на

что только и можем покушаться.

В повседневной тоске нет никаких желаний, даже охоты плакать. Другое дело — тоска, дошедшая до края: она побуждает что-то сделать, а плач тоже действие.

В этом нормандском порту только что выловили гигантскую рыбу (ее называют лунной), которую, видно, принесло теплым течением, поскольку такие в здешних краях не водятся. Вытянувшись на пирсе, она было содрогнулась, выгнулась, но тут же затихла и оцепенела. Конец без мучений, завидный конец.

Если бы не отвратительный ступор перед лицом смерти, только выжившие из ума одиночки стали бы сопротивляться ее безусловной *соблазнительности* для каждого нормально устроенного человека.

В богословии различают заслуги эссенциальные и акцидентальные. Нам известны и понятны только вторые. Но по-настоящему важны только первые.

Всякий *замысел* — скрытая форма рабства.

Смириться или взорваться — бывают случаи,

когда другого выбора нет. И все же единственно достойным выходом остается третий.

Я начал сдавать, когда меня перестало посещать наитие, когда исключительное ушло из моей жизни. На его место с неизбежностью вселилось бесплодное и озабоченное удивление, рискующее постепенно поблекнуть, расплыться, утратить всё, даже озабоченность.

Это неправда, что мысль о смерти удерживает нас от низких помыслов. Она даже не заставляет нас за них краснеть.

Человека не исправит ничто. Честолюбец остается собой до последнего вздоха и будет гнаться за удачей и славой, даже если мир у него на глазах разлетается на куски.

И вот я *один.* Что может быть лучше? Острее радости нет. Впрочем, есть: радость слышать, как благодаря тишине мое одиночество *растет.*

По шумерской мифологии, потопом боги наказали человека за то, что от него много шума. Хотел бы я видеть, что они с ним сделают за нынешний гвалт!

Я столько нянчился с мыслью о смерти, что любые слова о том, как я к ней отношусь, звучали

бы приблизительно. Могу сказать одно: я не в силах без нее обходиться, без нее мне будет нечего пережевывать…

Неуверенность, всегдашняя причина неудач в практической жизни, — прямой, иначе говоря, единственный источник какого бы то ни было внутреннего богатства.

Человек — бывшее животное, но все-таки животное, и хуже, и лучше животного. Сверхчеловек, будь он возможен, стал бы хуже и лучше человека. В любом случае он окажется *незваным гостем*, который доставляет больше всего хлопот и приход которого никогда не предугадаешь.

Какое безумие привязываться к людям и вещам, это еще безумнее, чем верить, что сможешь потом от них отвязаться. Желать отречения любой ценой и всегда оставаться лишь *кандидатом* в отрекшиеся!

Словесный шик метафизики — если вообще снисходить до ее услуг — единственное, что придает ей какую-то видимость смысла.

А посмотришь без причуд и прикрас — полное ничтожество.

Смерть — самое несомненное, что до сей поры

выдумала жизнь.

Ключевой момент исторической драмы вне нашей досягаемости. Мы всего лишь его глашатаи, те самые *трубы* Страшного суда, судьи на котором не будет.

Время, соучастник губителей, плевать хотело на мораль. Кого теперь возмущает Навуходоносор?

Чтобы страну ценили, нужна добротная серединка. Так называемая *цивилизация*, или попросту *общество*, значит именно это — отменное качество посредственностей, из которых состоит.

Торквемада всегда оставался *искренним*, а значит, негибким, бесчеловечным. Другое дело — развращенные Папы: эти бывали милосердными, как все, кого можно купить.

Древние законы запрещали евреям предсказывать будущее. Дальновидный запрет. Представь они себе, что их ждет, нашли бы они в себе силы выдержать, остаться собой, противостоять всем превратностям такой судьбы?

«Сила распространяется не снизу вверх, а сверху вниз», — говорит один герметический трактат.

Может быть. Но это никак не распространяется на ход истории, где один закон — *подъем почвенных вод.*

Нет такой системы идей, нет такой программы действий, среди приверженцев которой значился бы Эпикур, враг любых перетрясок, любых посулов, хвастовства любым куцым шажком вперед. Вот кого никогда не цитировали на баррикадах. Его позиция — самоуглубление, и если он хотел переделать человека, то лишь в одном: отговорить его гнаться за *здешним.*

Самый неуступчивый противник ревностных, убежденный враг Лучшего и Худшего.

Китайская пословица: «Стоит одной собаке залаять на шорох, и десять тысяч собак превратят его в гром».

Для эпиграфа к любому рассуждению об идеологиях.

Присутствовать при конце той или иной веры — случай исключительный. Что рядом с этим падение государств и цивилизаций! Зрелище заката богов и связанных с ними тысячелетних аномалий вызывает подъем, который мало каким поколениям на протяжении столетий посчастливилось испытать или хотя бы вообразить.

У каждого нашего поступка есть причины, и все-таки мы не автоматы. Мы до той или иной степени свободны в рамках, заданных… изъянами предопределения. Раздоры с другими и с собой приоткрывают в нашем застенке некую брешь, так что существуют, конечно же, разные степени свободы, как существуют ведь и разные стадии разложения.

Ценить жизнь выше, чем она того заслуживает, — ошибка, характерная для любого слабеющего режима. Именно поэтому никто не хочет жертвовать жизнью, его защищая, и он рушится от первого же толчка. В еще большей мере это относится к целым народам. Как только они начинают почитать жизнь как нечто *сакральное,* она их покидает, отворачивается от них.

Свобода — это самоопустошение, свобода истощает, тогда как гнет заставляет копить силы, не дает расплескивать энергию, как это делает свободный человек, которому свойственно расточаться, раздавать *лучшее.* Вот почему рабы рано или поздно кладут конец свободе. Хозяева же себе на беду изливаются, тратят собственную суть, *жаждут высказаться:* неумеренная трата своих дарований, любых своих преимуществ доводит

их до состояния теней. Рано или поздно свобода их пожирает.

Под крепостным ярмом этот народ возводил храмы; освободившись, он громоздит одни ужасы.

Человек — это *недопустимо.*

Избегать очковтирателей, никому и ни по какому поводу не говорить *да.*

Любая утопия, становясь реальностью, напоминает похабный сон.

Вынести можно только одну религию или одну идеологию — *чисто внешнюю.* К несчастью, история на них скупа.

Изготовляя человека, Прометей размачивал глину не водой, а слезами.

…И древних еще называют безмятежными — слово, ничего не говорящее ни в какую эпоху.

Чувствуя страсть к делам заведомо гиблым, приходишь к выводу, что других просто не бывает, и не такая уж это беспочвенная мысль.

«Жизнь безумца безрадостна, она полна тревог и целиком устремлена в будущее». Эти слова

Сенеки, процитированные у Монтеня, — хорошая иллюстрация к мысли о том, что одержимость смыслом истории — источник умственного расстройства и больше ничего: следовать ли ее потоку или противостоять ему, существенной разницы нет, поскольку в обоих случаях ты не сводишь глаз с будущего, оставаясь послушной или недовольной, но все равно жертвой.

С незапамятных времен человек цепляется за ожидание конца света в надежде раз и навсегда разделаться с историей. Замечательно то, что эти мечты возникают у него очень рано, уже на первых шагах, когда происходящее вряд ли могло его до такой степени опечалить. Закрадывается мысль, что страх перед тем, что его ожидает, перед тем, что ему уготовили века, был до того живым, до того острым, что превратился в уверенность, в галлюцинацию, в надежду…

«У меня предчувствие, что все кончится плохо» — эти слова, оброненные Наполеоном на острове Святой Елены, имеет право произнести каждый: они как нельзя лучше подходят ко всему безумному человеческому предприятию, объясняя его путаницу, половинчатость, смутность и трагизм, сбивчивый ход и устремленность к

последнему действию, царству ничтожеств и марионеток.

Новалис: «От нас одних зависит подчинить мир нашей воле».

Вот полная противоположность тому, что думают и чувствуют в конце жизни, а в еще большей мере — при конце истории…